

Вера Федоровна Панова

ЕВДОКИЯ

(Повесть)

1

На улице Кирова, бывшей Пермской, стоит двухэтажный бревенчатый дом Евдокима Чернышева, кузнеца. Евдоким воздвигал его почти двадцать лет. Сначала была изба на две комнаты, в три окна, потом пристроили угловую светлую комнату — ту, где переночевал последнюю ночь Андрей, а до отъезда в училище жил Саша и где на стене висит модель линейного корабля; потом ставили второй этаж, — это уже когда семья разрослась, стало тесно, а Павел и Наталья стали зарабатывать хорошие деньги.

На окнах белые занавески, шитые прорезью, — к этому вышиванью приложили руки все женщины семьи Чернышевых, даже недоброй памяти Клавдия, порхнувшая по дому недолговечной бабочкой... Белые занавески и китайские розы. Розы растила Катя. Уезжая на фронт, она долго наставляла Евдокию, как ходить за цветами. Евдокия до цветоводства не охотница, но ради Кати беретса за ножницы и лейку и холит, и охорашивает оконный девичий сад.

В доме теплота натопленной русской печи, запах вымытого пола и горячих шанег, смешанный с запахом машинного масла от рабочего платья, висящего в сенях. Чисто в невысоких горницах с потертыми половичками, простеленными от угла к углу. Много портретов в узких рамках по стенам. И маленькая Лена спрашивает Евдокию:

— Бабушка, это всё твои дети?

— Ну да, — отвечает Евдокия.

— Столько много детей?

— Где же много? Всего четверо, Андрюша пятый был.

— Где же четверо? Тут одних девочек десятеро или двадцатеро.

— И всего две девочки: тетя Катя да мама твоя.

— А вон та, с косичками?

— Мама.

— А стриженная, с длинной шеей?

— Мама.

— А красивая, в бусах?

— Мама.

— И на пушке — тоже мама? — спрашивает Лена.

Евдокия вздыхает:

— Нет. На пушке — тетя Катя.

Лена закрывает глаза и говорит:

— Столько разных детей, что я устала на них смотреть.

2

В тысяча девятьсот двадцать втором году Евдоким Чернышев решил жениться.

Мать писала: «Долго ли еще будешь скитаться неженатым? Время, сынок!» До тех пор ему было не до женитьбы. Жизнь мотала его: из тесной отцовской кузницы в деревне Блины — в визг, лязг и грохот огромного цеха на уральском заводе, с завода — на войну. Война была долгая, она пронесла Евдокима от Урала до Карпат, с Карпат в Питер, из Питера во Владивосток, через тысячи километров железнодорожных путей, сквозь сотни площадей, деревень, станций, сквозь госпитали и пустыни. Бродя с товарищами-партизанами среди болот, он заболел лихорадкой; одежда, пропитанная потом, высыхала на нем; сыпь, сливающаяся в гнойные корки, обметала ему рот. И вот по ночам, на бездомном привале, в жару и ознобе, глядя на звезды и дыша со свистом сквозь зудящие, изуродованные губы, он стал мечтать о будущем гнезде, о семейном рае. Именно раем представлялась ему семейная жизнь: светлое место, где человек снимает тяжелые сапоги и передыхает после труда и битвы. Светлая, спокойная, разумная жена виделась ему — помощница и советчица; светлые, ласковые дети...

У его матери было детей одиннадцать душ. Чтобы за стол не садилось тринадцать человек, мать выписала из Кукуштана бабушку. Бабушке не хотелось уезжать из Кукуштана, но она пожалела дочку — тринадцать душ за столом каждодневно, ни на что не похоже! — и переехала в Блины. Было хлопотно и весело. Когда лепили пельмени, от них некуда было деваться пельмени лежали на столах и лавках, и на кроватях, и на подоконниках, мешки с пельменями висели в сенях на морозе. Молоко к столу подавалось в ведре, шаньги — на блюде величиной с колесо. Вот такой дом и представлялся Евдокиму! Он строил его и украшал. Он нес в этот дом заработанный хлеб и гостинцы. Детские головки окружали большой стол, приветливая женщина господствовала у большой печи...

Отвоевав, Евдоким вернулся на Урал, на свой завод. С удивлением он отметил, что в усах у него седина, а вокруг глаз морщины, — рановато. Юность прошла, он стал солидным, серьезным, усердно работал, о пустяках говорить не любил. Раненая нога ныла перед дождем. От лихорадки его вылечили. Мечта о гнезде осталась, теперь она могла осуществиться. Он посматривал на девушек, но — та ему казалась грубой, а та некрасивой, а та любила гулять с парнями, — ни с одной не хотел он вить свое заветное гнездо...

— Скучаешь, Чернышев, — сказал однажды старик Авдеев. — Заходи вечером, побеседуем, выпьем.

Авдеев был из лучших рабочих, держался важно. Евдоким надел праздничную рубаху и пошел.

Авдеев вдовел, подавала на стол его дочь Евдокия. У нее было большое белое лицо и большой улыбающийся рот, и это лицо с постоянной улыбкой, широкими скулами и тонкими высокими бровями напомнило Евдокиму красивый и непонятный лик Будды, который он видел во Владивостоке.

Она молчала весь вечер, все вставала, уходила и опять приходила, и над столом двигались ее белые полные руки. Евдоким разговаривал с Авдеевым и старался на нее не смотреть. Его поразило имя: он — Евдоким, она Евдокия. Судьба? Покуда он обучался в отцовской кузне, вживался в завод, воевал с германцами и белобандитами, валялся в бреду по болотам, — для него безвестно, скрытно, как лесной цвет под листком, подрастала эта белолицая Евдокия. И негаданно, неожиданно, будто за поворотом дороги, она открылась ему. Это ее, стало быть, он дождался?..

С того вечера он все думал о ней.

Он ходил к Авдееву и с ней не разговаривал — стеснялся, и не смотрел на нее, но думал о ней и думал. И ночью она была в его снах, белая и горячая, с высокими дугами бровей.

В доме не было другой женщины, Евдокия все делала сама; все было в большом порядке, и сама Евдокия всегда такая чистая и убранная. За это Евдоким еще больше ее любил и уважал. Вот именно такая ему нужна! Только такую жену он хочет! Но он боялся, что она за него не пойдет и что Авдеев будет против их супружества. Евдоким приучал их к себе и выбирал подходящую минуту для сватовства.

Как-то Авдеев позвал его, он пришел, а Авдеева не было дома.

— Придет скоро, велел обождать, — улыбаясь, сказала Евдокия.

Он вошел в парадную горницу и сел, положив шапку на колено. Перед ним в простенке висела картина: девица с голубями. Евдоким смотрел на картину, уже изученную во всех подробностях, и слушал, как Евдокия ходит в кухне. Потом она вошла и стала за его стулом. Он не повернул головы, все смотрел на девицу с голубями. Замер весь белый свет, в полной тишине тикали часы и дышала Евдокия. Она вздохнула прерывисто, тронула ладонью его затылок и прошептала:

— Ах, ты-ы...

Он повернулся и обнял ее, шапка упала ему под ноги, дверь отворилась, и вошел старик Авдеев.

— Очень прекрасно, — сказал он, — за родительской спиной... Ну что ж, по крайней мере — не мот, не франт. Непьющий. Пускай как она хочет.

Он снял с божницы образ и деловито помахал им перед дочерью и Евдокимом.

Сидели ужинали. Авдеев наливал из графинчика и говорил:

— Все бывает в жизни. Ты это запомни, Евдоким, — в жизни бывает все, и обижаться не надо. Деньгами дам десять червонцев, дал бы больше, да сейчас не могу.

Евдокия пояснила:

— Папаша сами жениться хотят.

Евдоким сказал:

— Прежде чем играть свадьбу, хочу дом поставить.

— Ну что ж, — согласился Авдеев. — Станови. Оно вернее. Будем здоровы!

И залпом выпил рюмку.

3

Горсовет разрешил Евдокиму постройиться на пустопорожном участке на Пермской улице. Завод дал лес, а Авдеев — пять червонцев в счет приданого.

Евдоким написал письмо в деревню Блины, и четыре брата приехали строить Евдокиму дом. Авдееву хотелось поскорее выдать дочь, чтобы самому жениться. Он тоже помогал: выхлопотал кровельное железо по дешевке и приладил шпингалеты и дверные ручки. Денег было мало, приходилось рассчитывать каждую копейку. Евдоким торопил братьев и даже поссорился с младшим, Сергеем, который повадился отлучаться с постройки и шляться по городу.

Евдокия братьям понравилась.

— Добрая, — говорили они, — хозяйка будет.

Она приносила им обед и разговаривала с ними ласково, по-родственному.

Был июнь месяц. Постройка подходила к концу. Днем Евдоким работал на заводе, а вечерами и длинными белыми ночами строил свой дом. Он сам ставил печь, оковывал кадушки, делал крышки для чугунов, ковши, жаровни, ковал крючья для вешалки и отделявал в подарок Евдокии дубовый комод. Всякая работа удавалась ему. Он мог бы стать, если бы захотел, и жестяником, и печником, и столяром, мог работать двадцать часов подряд, не уставая. Особенно весело было делать что-нибудь, когда Евдокия стояла рядом и смотрела на него.

Каждый день он видел ее, и она становилась ему все милей и ближе. Движения ее были круглы, неторопливы и точны, и, как у него, всякое дело спорилось в ее крепких руках. Все в ней было желанно, сердце горело, когда она подходила близко!

Иногда они на минуту оставались вдвоем, и он обнимал ее, но сейчас же она отстранялась, пугливо раскрыв губы, а он думал гордо и умиленно: «Голубка моя чистая!»

Наконец дом был построен.

В доме были расставлены новенькие некрашенные столы, лавки, полки. На кровать уложили Евдокиину перину и восемь подушек; верхняя подушка почти касалась потолка. Рядом поставили Евдокиин кованный сундук со звоночком.

Наступил день свадьбы. В доме Авдеева играла гармонь, ели, пили, танцевали. Евдоким сидел возле Евдокии. На голове у нее была красная лента. Лицо ее пылало, конец ленты щекотал ей шею, и она, опьяневшая, слабо отмахивалась от него, как от мухи. Приходил фотограф, снимал жениха и невесту. Худая женщина в зеленом платье распорядилась и угощала. Это была будущая жена Авдеева. «Старая любовница папашина», — сказала Евдокия.

Пировали весь день и всю долгую ночь. В окна заглядывали с улицы чужие лица. Евдоким сидел, держал Евдокию за руку и, когда кричали «горько», целовал ее в мягкие губы. Его Евдокия! Сейчас они, рука в руку, пойдут в свой дом, и это будет начало пути, длинного, счастливого, правильного пути, который закончится только с их смертью.

Вот уже они встают. Кто-то что-то говорит. Они идут по улице, потемневшей перед рассветом, гости и зеваки провожают их, играет гармонь то будто очень далеко, то над самым ухом, — женщина в зеленом платье пляшет перед ними. Вот их дом. Их окружают, хохочут и шутят. Евдоким не понимает слов, вино и кровь шумят у него в ушах... Они входят в дом. Он запирает дверь.

Сразу становится тихо. В прохладные комнаты бледно глядит рассвет, пахнет свежим деревом, пихтой. Они одни, Евдоким и Евдокия, присужденные друг другу судьбой...

Через полчаса она крепко спала, а он лежал неподвижно, лицом вверх, чувствуя себя поруганным и одиноким.

4

Можно было осрамить, ославить, отвести обратно к отцу — мол, получай свое сокровище, думаешь — иконкой раз-два махнул, так и буду на нее, обманщицу, век работать, как дурак! Не на таковского напали, советская власть никого силком не принуждает жить...

Можно оставить при себе, скрыть ото всех, что его надули, как последнего мокрогубого мальчишку, — оставить при себе и держать в унынии, в молчании, в страхе, источить попреками: «Что?.. Да ты кто такова, чтобы мне отвечать? Ты — нечестная, ты обманом меня взяла, чтобы разврат свой покрыть. А любовник сбежал, что ли? Что ж так? Женитьбой, значит, не прельстился?» Вот так точить и точить, чтоб стала тоньше спички...

Да, а как же он будет со своим прекрасным домом, который заложен еще там, на гнилых болотах, в партизанском неустройстве? С домом, над которым вот уже возведена крыша?

С кем сладить жизнь, которую так хорошо обдумал и навеки полюбил в мечтах? Где она, его светлая жена?..

Как будто полегчает от того, что она вернется к отцу, а он один останется среди этих стен, для нее поставленных... Да он и жить тут не сможет от тоски!

А насчет того, чтоб известить ее попреками, — этого он и не умеет даже, это так, вообразилось в минуту горя и гнева, — и от одного этого воображения стало еще тошней.

Нет, не будет ему жены, кроме Евдокии.

Ведь вот и порченная, и улыбка у нее бабья, лукавая, блажная, и ума, как приглядишься, не палата, — а все тянется к ней душа и не хочет никакой другой.

Она будто и не понимает, почему он тоскует и хмурится; смотрит спокойно, улыбаясь. Эх, припечатать кулаком, чтоб не стало этой улыбки, да больно жалко!..

Марьюшка, соседка, повстречалась ранним утром на пустой улице. Лицо у Марьюшки было длинное, смуглое, глазки черненькие, беспокойные. Славилась она своим степенством и совершенством манер, а также многими знаниями: знала все приметы, заговаривала зубы и толковала сны. Остановив Евдокима, Марьюшка сказала:

— Что, сосед, хочу спросить, — тебе-то, верно, известно, — Ахметка-то совсем уехал, что ль?

— Какой Ахметка? — спросил Евдоким. Не задай он этого вопроса, так и не заглянуть бы ему никогда в Евдокиино прошлое, и, может быть, скорей бы прошла боль в сердце, которая даже во сне не оставляла его.

— Нешто не знаешь Ахметки?! — непомерно изумилась Марьюшка.

— Не знаю я никакого Ахметки.

Марьюшка прикрыла глаз уголком платка и застонала от смущения. Потом поспешно, чтобы он не ушел, изложила все.

Татарин Ахмет, приказчик из бакалейной лавки, был Евдокиной зазнобой. Она сошлась с ним, когда ей было шестнадцать лет. И отец знал и допускал. Да об нем что говорить! Друг дружке не мешали. Ихняя авдеевская порода вся бесноватая... Как же, погуляла всласть, мои матушки. Ребеночек был, скинула ребеночка. Да неужто Евдоким не знает ничего? Марьюшка была в уверенности, что его предварили. Такого человека хорошего и не предварили, совести нет у людей... Да, скинула, года три назад, а с тех пор ничего боле не нагуливала, хоть и гуляла по-прежнему. Как лавку закрыли, Ахмет уехал; после, значит, в скором времени опять приехал и давай за старое; уезжает — приезжает, и прямо к ней, ужаси подобно...

— Что ж не поженились? — глухо спросил Евдоким.

— Дак — татарин! Нельзя ему. Он с самого начала ее предварил — мол, моя вера не допускает. Отец у него, вишь, шибко за веру держится. Лёгко у них все было, лёгко.

— Его нет? — спросил Евдоким каменными губами.

— Нету, сейчас нету. Еще до того времени, как ты стал к ней ходить, пропал, совсем пропал куда-то.

Евдоким кивнул головой и пошел. Он шел широким, грузным шагом, слегка приседая, как человек, несущий на плече тяжелый мешок. Вот оно как! Вот, значит, как...

Прежде он думал, как, поженившись, они будут по вечерам всё друг другу рассказывать и советоваться. Ничего этого не было — ему не хотелось с ней говорить, он сидел молча, много курил, прочитывал газету и шел спать. Советоваться! Что с ней советоваться? Она пошла за него, любя другого.

И все-таки он любил ее. Она была такая же, как до свадьбы: ясная, красивая, опрятная. В доме было чисто, еда вкусная, сама — как из бани. Все она что-то делала, никогда не сидела без работы. Куря, он слушал, как она ходит и дышит. И ему нужно было, чтоб она ходила и дышала.

Чтобы не было так тягостно, он стал приводить своего товарища Шестеркина. Шестеркин на работе оглох и в разговоре кричал без надобности, но был человек чистый, простого сердца. Он думал, что Евдоким должен быть очень счастлив, имея такую жену, и кричал на весь дом:

— Страдал ты? Верно! Ну, да без страданья нет награды! За страданья тебе награда — она!

Евдокия любила, когда приходил Шестеркин. Без него очень уж тихо было в доме. Евдокия думала, что Евдоким, конечно, ничего себе человек, но скучно с ним. Молчит да молчит. Приласкает когда — и слова не скажет, а без слов что за любовь? Так ли любил ее Ахмет: он ей сказки сказывал, на коленях ее качал, как дитя, учил нежные слова по-татарски говорить. И все-то смеется — белые зубы, черные брови, рука узкая, ласка вкрадчивая... Хорош Ахмет!

Так прошло года полтора. Постепенно привыкали друг к другу, сживались. Детей не было. Евдоким хоть и помнил мутный Марьюшкин рассказ, однако надеялся, что будут дети. Евдокия помалкивала, но про себя давно знала, что матерью ей не быть никогда.

5

У отца Евдокия бывала редко.

На именины и на пасху полагалось поздравить родителя, в прощенный день — попросить прощенья. Евдокия шла вместе с мужем, их принимали с почетом, угощали, но она чувствовала себя стесненно, как у чужих. Мачеха была слащавая, неискренняя, с завистливыми глазами; отец словно боялся, что Евдокия чего-нибудь у него попросит. А

пуше всего Евдокию удручала Наталья.

Этой Наталье, мачехиной дочке от первого мужа, было лет десять. Глазастая, стриженная под гребенку, с длинной тощей шеей, она угрюмым и злым лицом была похожа на старуху. Когда приходили гости, она стояла у двери, водила глазами, и, оборачиваясь, Евдокия встречала ее недобрый взгляд.

В доме Наталью не любили. Мачеха говорила жеманно-ласковым, приторным своим голосом:

— У людей дети как дети, а моя — бог с ней! — неслухмяна, непочтительна. Читать научилась: от кого научилась, — так ведь ни за что не скажет, хоть пополам ее перебей, не скажет, вы подумайте! А кошку зачем ты, зачем кошку прибила, ну? Говори.

У Натальи покривились губы, по лицу прошла судорога. Глухо, ненавистно она ответила:

— А зачем она мышку мучила?

Мачеха притворно засмеялась:

— Глупая. Разве она мучает? Она с ней играет, забавляется...

Евдоким жалел Наталью. Идя с Евдокией домой, он говорил:

— До чего довели девчонку; не смеет к людям подойти, из угла глядит. По голове хотел погладить — шарахается. Даю ей пряник — она за него взяться не умеет, не умеет спасибо сказать, ровно бирюк.

И прибавлял с обидой:

— Другие ждут не дождутся детей... А этим, видно, ничего не надо, кроме своей утробы.

«Будь у нас дети, — думала Евдокия, — он хороший был бы отец». Чувство вины перед ним касалось ее сердца, и она старалась получше заботиться о муже, повкусней его накормить, чтоб хоть отчасти утешить.

Раза два Авдеевы приводили Наталью к Чернышевым, и тут Наталья держалась так же дико и неприязненно и, как видно, не получала никакой радости от того, что ее сажают и угощают вместе со взрослыми.

В начале зимы старик Авдеев заболел тифом. Мачеха отдала его в больницу. Евдокия ходила проведать отца, но ее к нему не пустили.

Было утро, Евдоким только что ушел на работу. Еще не развиднелось как следует, в кухне горела лампа. Евдокия, позевывая, щепала лучину, чтобы разжечь печь. Вдруг отворилась дверь и вошла Наталья.

На ней была материна кофта с длинными рукавами и большие валенки. Она захлопнула за собой дверь и остановилась у порога, кофта распахнулась, открылись голые коленки. Евдокия испугалась:

— Ты что? Случилось чего?..

Держась за дверную ручку, словно готовясь убежать, Наталья спросила шепотом:

— Дяденька Евдоким дома?

— Нету. Тебе зачем его?

— Так, — прошептала Наталья. Глаза у нее закатились, помутнели. Она выпустила дверь, сползла — опустилась на пол, ноги в валенках разошлись. Евдокия стала на колени, приподняла ее голову и услышала шепот:

— Маму в больницу увезли... Папа помер нынче ночью... Дров наколотых нет, истопить нечем... Я к дяденьке Евдокиму пришла...

От ее худого тельца дышало жаром. Она завела глаза, забылась.

Евдокия раздела ее и перенесла на сундук, подстелив овечью кошму. На тонкой руке Натальи, выше локтя, были два синяка, острые ключицы торчали. С болезненной жалостью Евдокия подумала: «Сиротка!»

Потом она вспомнила, что она теперь тоже круглая сирота, и заплакала. С отцом у нее никогда не было нежностей, он ничему ее не научил, ему было бы прибрано в доме да состряпано кушанье, — но все-таки он ее не бил, кормил, одевал и, когда она запуталась в

своих любовных делах, пристроил ее за хорошего человека. Ей казалось теперь, что со смертью отца ушла ее главная опора и защита, и, всхлипывая, она причитала вполголоса:

— И на кого ж ты меня спокинул! И стою же я одна, как былиночка на ветру!

Наталья открыла большие, очень блестящие глаза и спросила:

— Где дяденька Евдоким?

И весь день, не то в сознании, не то бредя, она о нем спрашивала. А к вечеру стала Евдокию принимать за Евдокима. Ухватила Евдокину руку своей жаркой цыплячьей ручкой и спросила:

— Дяденька Евдоким, дяденька Евдоким, ты меня маме не отдашь, нет?

— Нет! Нет, детка! — ответила Евдокия, ужаленная состраданием, ужасаясь этому детскому несчастью и беззащитности. — Не отдам никому, ничего не бойся!

Мачеха умерла на девятый день. Наталья, промаявшись полтора месяца на Евдокином сундуке, поднялась, длинная, тощенькая, но с новым каким-то лицом, будто в этой схватке со смертью она обрела жизнь и получила к ней вкус.

Стриженная наголо, в старом платье, из которого выросла за время болезни, она ходила из кухни в спальню и рассматривала каждую вещь так, словно в первый раз ее видела. Подходила к окошку, смотрела, как вьюга несется над пустынной улицей, и чему-то смеялась тихо. Евдоким приносил газету — Наталья прочитывала ее всю, согнувшись над смутной печатью, шевеля губами. Евдоким сказал:

— Вот я тебе книжек принесу, дочка.

И принес. Наталья что-то уж очень быстро их прочла, Евдоким хотел ее проверить, но для этого надо было самому прочесть эти книжки, а у него не было времени: его выбрали председателем цехкома, от множества дел некогда было вздохнуть.

— В школу надо тебя! — сказал он.

Евдокия вступилась:

— Куда ей наукой голову трудить? Вон она какая слабенькая! Пусть откормится порядком, а там ее к портнихе отдать бы в ученье, золотое ремесло. Хочешь, Наташа, портнихой быть?

— Нет, не хочу! — сердито и резко ответила Наталья.

Она поправлялась быстро. Евдокия перешивала для нее платья покойной мачехи и помаленьку приучала ее к хозяйству. Наталья все делала без охоты, — норовила скорей кончить дело и бежать к книжкам, — но споро. Только вышивать она любила: сидит часами, аккуратно водит иглой и думает о чем-то. Как-то Евдокия услышала: Наталья пела! Еле слышно пела она, и лицо у нее было ясное, детское. Евдокия умилилась... Когда Евдоким однажды сказал: «Слышь, Наташа, зови меня папой, а Евдокию мамой, ты же у нас дочка», Наталья тихо сказала: «Ладно».

6

Евдоким приезжал с завода, с Кружилихи, поездом. Доехав до станции, он неторопливо шел домой, минуя центр города. С ним был Шестеркин. На углу Сибирской они услышали пронзительный женский визг:

— Держите! Держите вора!

Что-то метнулось в сумерках, пригибаясь. Сейчас же затопали десятки ног. Кто-то кинулся наперерез, — толкнули, схватили, навалились, прижали к земле небольшого мальчишку.

Женщина в котиковом манто, в фетровых ботах до колен, подбегала, неуклюже раскатываясь на льду:

— Украл! Украл! Ах, боже мой!

— Чего украл-то? — спросил чей-то голос. Другие голоса перебили, загалдели:

— Отдавай!

— Где у него?

— Кому передал, говори!

— Жулики проклятые, проходу нет от них!

Женщина в манто верещала:

— Сумочка! Сумочка! Ради бога!

На нее никто не обращал внимания — сбились в кучу, стремясь расправиться с мальчишкой... Евдоким подошел, обеими руками разгреб толпу:

— Ну, кончай базар. Самосуд ладите, что ли?

Рукой в великанской рукавице он вытащил мальчишку из толпы и поставил перед собой:

— Где сумка?

Мальчишка трясущимися детскими руками достал из-под тряпья, откуда-то с живота, сумку и подал. Евдоким показал ее женщине:

— Ваша?

— Слава богу! — всхлипнула женщина.

— У, распустила губы из-за дерьма, — сказал кто-то в той самой толпе, которая собиралась отгаскать мальчишку. — Паразиты чертовы, нэпманы, готовы удавиться за целковый...

— Пойдем-ка со мной, красавец, — сказал Евдоким.

— Дяденька, — заныл мальчишка, — отпусти! — Кровь текла у него по губам и подбородку, и он хлюпал носом, пугаясь алых капель, падающих на снег. — Дяденька...

— Ладно, давай печатай! — сказал Евдоким.

Он привел мальчишку к себе домой и сказал Евдокии:

— Принимай гостя. Дай умыться чертенку да покорми.

— Я холодной водой не могу мыться, — сказал мальчишка, видя, что Евдокия наливает в таз воду из кадлушки. — Я малокровный.

— Скажи, какой нежный! — сказала Евдокия, но все же налила ему теплой воды. Мальчишка мылся так, словно боялся испортить свою красоту. Евдокия зашла сзади, одной рукой охватила его, а другой старательно и бесцеремонно вымыла ему лицо.

— Не дерись, зараза! — закричал мальчишка. — Дяденька! Тетка дерется!

Вымытый, он оказался блондином с бледеньким смышленным лицом. Ноздрю, из которой еще сочилась кровь, он зажал пальцем.

— Вшей-то на тебе, поди... — сказала Евдокия. — Всю квартиру зачумишь. — И она дала ему старые рабочие брюки и рубашку своего отца Евдокимова одежда была бы велика непомерно. Весь чистенький, мальчишка нерешительно присел у края стола. Евдоким протянул ему ломоть хлеба; мальчишка так и впился в хлеб руками и зубами. На щеках у него проступили два круглых, как яблоки, красных пятна.

«Господи, много ли надо, — подумала Евдокия. — Умыли, согрели, глядишь — вовсе другое дитя, на человека похож...» Она отрезала ему кусок студня и спросила:

— Откуда ты?

— С Волги, из Самары, — ответил он, всей пятерней взяв кусок.

— Отец, мать есть?

— В голодовку померли.

— А звать как?

— Андрей.

Она уложила его на печке, чтобы он прогрелся хорошенько. Евдоким сказал, что утром отведет его в приемник.

Утром мальчишки на печке не оказалось, не оказалось и Натальиной шубейки на вешалке. Лохмотья свои, что Евдокия накануне стащила с него, мальчишка забрал тоже.

— Ты больше води уркаганов в дом, — сказала Евдокия, расстроенная пропажей шубейки. — Еще не то будет.

Евдоким рассердился:

— Води, води!.. А тебе б догадаться, поснимать с вешалки, попрятать...

Месяца через два Евдокия, придя с рынка, увидела в кухне Андрея. Он сидел на полу — ворохом грязного тряпья — и хлебал щи. Наталья стояла и серьезно смотрела на него.

— Здравствуй! — сказала Евдокия. — Ты как, с ночевкой пришел?

Андрей поднял чумазое лицо и сказал:

— Я, тетка, больше не буду. Я могу тебе дров напилить, если хочешь.

— Он озяб очень, — сказала Наталья. — У него ботинки отняли.

Андрей, в самом деле, был совсем босой. У Евдокии сжалось сердце, когда она увидела его маленькие черные ноги. Она сама пришла с мороза и, хоть была в тулупе, валенках, пуховом платке и толстой шали, озябла так, что губы у нее одеревенели. Все-таки она не утерпела — попрекнула:

— А шубейку где девал? Шубейку небось загнал, а сам голый-босый явился?

— Ну мама! — строго сказала Наталья. — Зачем говорить, когда все ясно.

— Чего тебе ясно? — спросила Евдокия.

— Говори не говори — шубейки все равно нету, — ответила Наталья. — И нельзя голого и босого человека выгнать на мороз.

Евдокия озабоченно помолчала.

— Расселся! — повторила она снова, разматывая свой платок. — На полу собака ест и кошка ест; а человеку за столом сидеть указано... Неси, Наташа, таз, а я теплой воды достану. Вставай мыться, малокровный!

7

Наталью и Андрея отдали в школу. Евдоким сам купил им тетради, сумки, пеналы.

Наталья училась очень хорошо. Учителя ее хвалили:

— Очень способная девочка, надо ей дать хорошее образование.

Про Андрея они говорили:

— Ленив, дерзок, мученье с ним.

По вечерам Наталья в кухне готовила уроки, а Андрей дразнил ее:

— Чего стараешься? Все равно твое дело девчонское: подрастешь, выскочишь замуж, нарожаешь детей и все забудешь.

— Неправда, не забуду, — отвечала Наталья.

— Врешь, забудешь. Только замуж выйдешь, забудешь и арифметику, и географию, и все.

— Я не выйду замуж, — отвечала Наталья.

— Выйдешь. И ни к чему тебе ученье. Одно прохождение времени, чтоб поменьше дома помогать.

— Мама! — кричала Наталья, не вынеся несправедливости. — Зачем он говорит неправду?!

— Не трожь ее! Что ты к ней пристал, на самом деле? — вступалась Евдокия.

— Что делать будем? — хмуро спросил Евдоким, когда Андрей остался в четвертой группе на второй год. Ему уже было четырнадцать лет. Был он живой, вертлявый, острый на язык, охочий до всякой работы — только не до ученья. Он приносил воду, пилил дрова, разводил утюг, починял кастрюли и ведра. Евдокия не могла без него обойтись.

— Возьмите меня на завод, — сказал Андрей Евдокиму. — Скучно мне на парте сидеть с пацанами.

— А на заводе не будешь лодыря гонять?

— Не буду, честное слово.

Через несколько дней Евдоким сказал:

— Берет тебя Шестеркин в индивидуальное обучение. Будешь с ним на прессе работать. Только — смотри! Меня на заводе знают. Мне моя честь дорога. Ты — мой сын. Береги, смотри, сынок, нашу рабочую честь, понятно?

Андрей отвечал, что понятно. Действительно, Шестеркин был им доволен: даже удивлялся, почему такой сообразительный паренек плохо учился в школе. Андрей теперь уходил по утрам вместе с Евдокимом. Он возмужал, стал курить, щеголял своей испачканной рабочей одеждой. Когда он принес Евдокии свою первую получку, у него был такой гордый вид, что Наталья ему позавидовала.

Наталья ни за что бы не бросила учебу. Она себе поставила трудную цель: стать ученой женщиной. Как Софья Ковалевская и Мария Кюри. Ей шел четырнадцатый год, она стала формироваться, у нее выросли густые короткие косы. Чтобы казаться старше, она заплетала эти косы на висках и укладывала их на темени. Стройная шея и руки ее округлились. Как-то она сфотографировалась с подругами, и Евдокия, разглядывая карточку, нашла, что Наталья становится очень хорошенькой.

8

Из деревни Блины письма приходили редко, и всегда в них были сообщения о важных семейных переменах: или женился кто-нибудь, или умер. О рождении детей писали вскользь, между прочим, потому что у Евдокима было в живых четыре брата и три сестры, и каждый год у них рождались дети, а жена брата Сергея два раза приносила по двойне. Не хватило бы времени докладывать о каждом прибавлении семейства. Мать только дивилась, что Евдоким ничего не пишет о своих детях, и два раза спрашивала: «Отпиши, сынок, кем же похвастаешь передо мной, старухой, внуком аль внучкой, и имя пропиши», — но, не получая ответа на этот вопрос, перестала спрашивать. Один, один бездетный во всем Чернышевском роде был Евдоким, а уж ему ли не хотелось иметь детей?..

Летом пришло письмо, в котором, после многих поклонов до сырой земли, было написано:

«Еще сообщаем вам, что старший ваш брат Петр Николаевич приказал долго жить по причине грызи и оставил после себя семь душ детей, старшей же, Афросинье, 15 лет, и вдовая его супруга Антонида Ильинична, сама будучи хвора, ума не приложит, что ей с этой безотцовщиной делать. Желательно было бы вашего совета, как вы после Петра остались старшим над братьями и живете в городе, то лучше нашего знаете все ходы и выходы, где можно устроить сирот на казенный счет, и ежели будете в силе-возможности приехать хотя на день, то было бы нам большое вспоможение».

Евдоким узнал затейливый и уклончивый слог брата Сергея — хлопотуна и хитреца — и задумался. Он вспомнил Антониду, вечно стонущую, с тряпкой на голове, сорную ее избу, недопеченные шаньги. Где ей воспитать семерых ребят! Хотел вспомнить ребят — и не смог: года четыре назад погостил он неделю в Блинах, видел в каждой избе кучу детей, а которые из них были Петровы?.. Семь душ, шутка сказать...

Родственники уже нацелились перевалить заботу об этой ораве на советскую власть. «На казенный счет». Эх, родственнички, уважаемые! Молодому пролетарскому государству только-только удалось беспризорщину одолеть, бездомных сирот разместить по детдомам. Неужто мы, Чернышевы, так слабосильны, чтобы Петровых детей спихнуть на попечение государства? Не найдется у нас для них угла и куска?

Евдоким обвел взором свое опрятное жилище. Хорошо ли, худо ли, а живут же под его кровом Наталья и Андрей, и ему веселее с ними, и Евдокия, видать, им рада. Все-таки она — ничего баба: вон сидит, латает штаны Андрюшке. Что ей Андрюшка? Другая бы его поедом ела, а она ему ботинки купила шевровые, с шитым рантом. Говорит, мол, из Андреевой получки, — ну, пускай она это Андрею рассказывает. И зачем мальчишке такие ботинки? Чтоб на свадьбе у товарища, видишь ли, был одет не хуже других: председателя цехкома, видишь ли, приемный сын... Недаром Андрей на нее не надышится: мама да мама... Нет, определенно — хорошая баба. Своих детей лишена — к чужим жметя.

А ведь Петровы дети не чужие: племянники, родная кровь. Семь душ, гм... Двоих бы можно взять. Наталья и Андрей уже большие, и не оглянешься, как вырастут. Андрей уже

работает, старается себя оправдать. Надо съездить в Блины.

Он взял отпуск и поехал. Хотел было Евдокию повезти с собой, да как подумал, что обсядут ее бабы и начнут допытываться, почему неплодна, как да что, — пожалел и оставил дома.

В Блинах все было по-старому, только мать сильно подалась и глядела в гроб. Весть о приезде Евдокима собрала всю семью, пришли братья, сестры, невестки, зятя — прямо сельский сход; всем сходом повели его к Антониде. Антонида уже знала и ждала, навертев полдюжины тряпок на голову. При виде Евдокима она разохалась, расстоналась — вот-вот помрет... А хозяйство неплохое — корова, две телки, овец десятка два: все брат Петр на себе тащил, недаром от грыжи помер.

Сидели до петухов, обсуждали, что делать с Петровыми наследниками. Антонида соглашалась оставить при себе троих: двух меньших — один только что начал ходить — и девочку Афроську, которая была уже так велика и разумна, что можно было все взвалить на нее. Двух мальчиков постарше брала к себе сестра Пелагея, председательница сельсовета. Оставались двое: девятилетний Павел и пятилетняя Катя. Евдоким объявил, что забирает их к себе, усыновит и воспитает. Он думал, что братья обрадуются; но они как-то мялись и высказывались туманно. Он долго не мог понять, в чем дело, потом понял и рассердился: Антонида давала за детьми телку; братьям телки было жалко. Евдоким встал и сказал с досадой:

— Мне телка не нужна. А семью своим трудом оправдываю, и, слава богу, при советской власти мы, рабочий класс, обиды не видим. Не имея ни коров, ни овец, живу чище и здоровей против вашего, и братовых сирот прокормлю без телки, пропади она пропадом!

Братьям стало совестно, и они наперебой стали уговаривать Евдокима взять телку. Тем временем подоспели пельмени. Антонида, ахая, послала Афроську в погреб за брагой. Выпили с чувством на помин Петровой души по разу, выпили по другому — и браги целого бочонка как не было.

9

Евдокия вдруг затосковала. Андрей тоже уехал — в дом отдыха. Некого стало ждать по вечерам, не для кого стирать. Вдвоем с Натальей они ленились топить печь: похлебают крошки, поставят самовар — вот и сыты, и делать нечего. Во дворе был разведен огород, но для Евдокиных рук там и до обеда не хватало работы. Наталье добро: знай сидит целый день за книгами; а Евдокии куда девать себя?

Она придумывала себе дело: перештопала все чулки, даже такие старые, что не грех бы выбросить; набрала ситцу в мелких розочках — давно ей приглянулся — и пошла наволочки. Шила, позевывала и думала об Ахмете. Куда он исчез? С ним жизнь становилась праздничной. Как он всегда любовался ею, как нежил!.. Повстречать бы его, расцвести на недельку-другую всем телом, всем сердцем; натешиться, налюбоваться всласть... А там опять вернуться к своей простой, привычной и по-привычному милой жизни... Но Ахмет как в воду канул.

От Евдокима пришла телеграмма. Никогда еще Евдокия не получала телеграмм, и мысль о том, что эти строчки дошли к ней по проволоке, — так Наталья объяснила, — эта мысль наполняла Евдокию почтением и гордостью. Евдоким сообщал, что везет двух детей и телку и чтобы она все для них приготовила. Ей стало смешно: еще двух детей! Вот так так, да у нее скоро подушек не хватит!

С Натальей они осмотрели дом и решили, что дети будут спать пока на сдвинутых лавках, на сеннике; а потом надо будет купить кровать. Для телки Евдокия очистила дровяник во дворе. Ясно было, что на зиму он не годится, — придется ставить теплую пристройку к сням.

Евдокия съездила в Курью и приторговала сена. Денег у нее не хватило, пришлось оставить задаток, а рассчитаться она посулила потом.

Некогда стало думать об Ахмете, когда приехал Евдоким с двумя детьми, приехала телка в телячьем вагоне, приехал Андрей из дома отдыха, и столько явилось забот, что за весь день не справишься.

Дети понравились Евдокии. Мальчик был славный, похожий на Евдокима, не баловник, все сидел и рисовал картинки. Он ко всему присматривался и очень скоро спросил:

— Тетенька, а почему Наташа и Андрюша зовут тебя мамой, а мы с Катей зовем тетенькой?

— У Наташи и Андрюши матери нету, — ответила Евдокия, — а у вас мать жива. А я вам тетенька и есть.

— Мама нас не захотела, — сказал Павел. — Она захотела только Афроську, Параню и Витьку.

Евдокия не придумала, что ответить ему на это, и сказала:

— Ну, молод ты еще мать судить.

Павел промолчал, а через несколько дней сказал:

— Тетенька, давай все-таки мы тебя будем мамой звать. — И сказал Кате:

— Катька, ты тетеньку Дуню зови мамой, слышь?

— Почему? — спросила Катя.

— Потому что наша мама нас не захотела.

— Она плохая? — спросила Катя.

— Плохая, — сказал Павел. — Только ты ее не суди, Катька, ты еще молода.

— Ладно, — сказала Катя.

Эта Катя, румяная, тугая, как новенький мячик, огорчала Евдокию. Евдокии хотелось кормить ее с ложечки, — Катя вырывала ложку и кричала:

— Я сама, сама!

Евдокия хотела водить ее в передничках и бантиках, но банты Катя теряла, передники рвала и отовсюду падала. Только ее приоденешь, а она уже бегаёт грязная, в ссадинах и шишках. Евдокия терпеливо мыла ее, приговаривая:

— Вот послал бог счастье.

— Я сама! — кричала Катя, отнимая у нее мочалку.

Наталья смотрела на малышей свысока. Павел робел перед ней.

— Можно взять вашу книжку «Сочинения Пушкина»? — спрашивал он.

Наталья отвечала небрежно:

— Можешь, только ты там еще ничего не поймешь.

— Можно взять ваш красно-синий карандаш?

— Можешь, только не поломай.

Но однажды она застала его за рисованьем. Красным и синим карандашом была нарисована картина: Людмила в саду Черномора. Сад был голубой, светло-тенистый, и только Людмила была нарисована красным, как язычок пламени в волшебной синеве... Наклонив лоб, прикусив губу, Павел осторожно растушевывал голубую кисею листвы и не заметил, как Наталья заглянула через его плечо.

— Это ты нарисовал? — спросила она недоверчиво. Он мельком оглянулся на нее, заерзал на стуле и покраснел.

— А разве нехорошо? — спросил он немного погодя, поглядев на рисунок, и уже смело повернулся к ней и взглянул ей в глаза.

— Нет, очень хорошо, — сказала она серьезно. Он взял рисунок и протянул ей:

— На.

— А тебе не жалко?

— Нет. Я таких сколько хочешь могу нарисовать, — сказал он. — Только мне нечем.

Она посмотрела на рисунок и сказала:

— Ты бери мои краски. А этот карандаш пусть будет у тебя. Насовсем.

К годовщине Октября Андрей провел в доме электричество. Теперь в кухне и в спальне висели лампочки, дававшие чистый и яркий свет: в спальне — под стеклянным

тюльпанчиком лампочка, в кухне — под зеленым жестяным колпаком. И в новой пристройке, где помещалась телка, тоже было электрическое освещение, и Евдоким рассказывал на заводе:

— Малый-то мой свет провел — сам, без мастера.

— Я тебе его еще не так выучу! — кричал Шестеркин. — Ты мне за него знаешь какой магарыч должен поставить? Знаешь?!

— Ну, какой? — спросил Евдоким.

Но Шестеркин сам не знал, какой магарыч ему полагается за обучение Андрея. Андрей уже работал самостоятельно, а Шестеркин по несколько раз в день подходил к нему и учил его всему, что сам умел, — ему жалко было расстаться с таким понятливым учеником.

На демонстрацию 7 ноября ходила вся семья Чернышевых. Наталья шла со своей школой, Андрей — с заводской молодежью, Евдокия и младшие дети — с Евдокимом. Катю Евдоким нес на плече.

10

В цехе поставили новые машины, привезли пресс небывалой мощности. Шестеркин думал, что его уволят, потому что его умение при новых машинах станет ненужным, и запил от огорчения. Но его не уволили, а поставили обучать подростков и даже прибавили ему зарплаты.

— Выгнать бы тебя за твою дурость, — сказал ему Евдоким, — да жаль: голова у тебя — когда трезва — хороша.

— Молчи, молчи! — кричал Шестеркин. — Думаешь, машина меня заменит государству? Машину государство купит и продаст, а голову мою никто не купит, ни за какие деньги!

Евдоким пошел учиться на курсы повышения квалификации: без этого не удержаться бы ему в рядах лучших рабочих при новой технике и новых нормах. Свободного времени стало у него еще меньше; но при всех своих заботах он успевал думать о семье, об ее нуждах. Он решил, что нельзя дальше жить в такой тесноте, — вернуться в доме негде.

— Корове у нас просторней, чем нам с тобой, — жаловался он Евдокии. Андрей! Светелку пристроим?

— Безусловно пристроим, — отвечал Андрей.

— Вдвоем справимся?

— Определенно справимся.

— Составь-ка расчет! — приказал Евдоким. — Аккуратно составляй, без роскоши.

В те годы многие рабочие строили себе дома, нетрудно было достать материал в рассрочку, и за одно лето, при помощи Шестеркина, светелка была поставлена. Там стали спать Андрей и Павел. Туда приходили к Андрею товарищи. Они играли на гитаре и хорошо пели, а случалось — спорили о чем-то напечатанном в газете и кричали так, что казалось — вот-вот быть драке. Евдокия подавала им чай и закуску, ей было приятно, что Андрюша подрос и стал развитой и с лица симпатичный, свои у него знакомые, своя какая-то интересная жизнь. Павел, смиренно сидя в уголку, слушал песни и споры и рисовал смешные портреты.

И вдруг опять появился Ахмет!

Словно что толкнуло и подняло Евдокию, когда она подошла невзначай к окну и увидела его. Он стоял на краю тротуара и глядел на ее окна. Должно быть, он давно уже тут стоял: его пальто и барашковая шапка промокли от дождя. Евдокия, сама не помня как, враз очутилась на крыльце. С мокрым лицом, сияя белыми зубами, Ахмет взял ее за руки выше локтей и крепко сжал.

— Ох, что ты... увидят... иди... — бормотала она как в тумане. А сама не уходила и не замечала, что потоки дождя с карниза льются ей на голову и на плечи.

Ахмет сказал быстро:

— Как стемнеет, приходи на Разгуляй, к булочной, буду тебя ждать.

И ушел, озираясь. Она смотрела вслед, пока он не свернул за угол. Потом вошла в дом медленно, ноги у нее стали будто из ваты.

Когда стемнело, она пошла на Разгуляй.

11

Возвращались поздно — не понять было в черной осенней мокряди, который час.

Ахмет сказал, что его часы остановились. Он провожал ее, они долго шептались и целовались под чужими воротами, прежде чем расстаться.

Дома во всех окнах было темно. Она постояла, потом постучала негромко в темное окошко. Она думала, что придется стучать долго, — и Евдоким, и дети горазды были спать, — но сейчас же в сенях по лесенке застучали босые пятки, громыхнул болт. Отворил Павел. Он был в одной рубашке и испуганно дышал.

— Ступай, я сама затворю, — сказала она шепотом. — Ты что не спишь? Ступай, ступай, простынешь.

Он не послушался, стоял рядом, пока она накидывала болт, и по его дыханию было слышно, что он дрожит. Она взяла его за плечи и повела с собой:

— Ложись, ложись, спать пора.

— Я не хочу спать, — сказал он громко.

На печке заворочалась Наталья. Евдокия зашептала:

— Тише! Перебудишь всех.

— Никто не спит, одна Катя, — сказал Павел. — Папа с Андрюшей пошли тебя искать. Где ты была, мама?

— Ложись, ну! — сказала она. — Экой неслух!

Она закутала его и сама быстро разделась и легла, не зажигая света. Лежала, не спала, глядя в темноту и прислушиваясь, не возвращаются ли Евдоким и Андрей. Дождь припустил, шумел по крыше... Было совестно, что они, проработав весь день, ходят под дождем и ищут ее и что дети не спали, дожидаясь ее. Она хотела убедить себя, что это — ее дело, что она никому не делает зла, что не может быть такого правила, чтобы человек отказывался от своей радости ради других. «Никто не велит ему за мной бегать, лежал бы да спал», — думала она. Но что-то шептало ей, что она себя замарала, что она одна замаранная среди них, чистых. «Ах, господи, зачем он приехал!» подумала она об Ахмете. И в то же время знала, что завтра опять пойдет на Разгуляй и потом опять будет красться по дому и замирать от стыда перед детьми.

Евдоким и Андрей пришли не скоро, мокрые, злые. Где они не побывали и в милиции, и в морге... Евдокия сама отворила им и тоже прикинулась злой, обиженной.

— Ты где была? — спросил Евдоким. Она ответила, отвернувшись к стенке:

— Где была, где была! Товарку в родильный провожала, а тебе только бегать да срамить меня!

Товарку свою Машу Овчинникову Евдокия не видела уже полгода и только накануне узнала случайно, что Маша отправляется в родильный дом.

— Какую товарку?

— Овчинникову Машку. Проверить хочешь? Проверь ступай. Андрюшку с собой возьми...

— Ты хоть объявляй, куда уходишь-то, — сказал он устало. Евдокия села на кровати, слезы стыда и упрямства подступили к горлу:

— Вот я тебе объявляю, что завтрашний вечер опять в больницу к Машке пойду, слышал?

— Не кричи! — сказал он сурово. — Дай детям покой.

Она затихла и до утра лежала без сна. Гнев на кого-то — не на себя ли? — и тоска, и другие чувства, которым она не могла бы подыскать названия, давили ей грудь...

На другой день Ахмета на Разгуляе не было. Евдокия ждала его, ждала возле булочной и пришла домой разочарованная и усталая.

Хорошо, что она пришла рано! Евдоким, против обыкновения, был уже дома — сидел в кухне и починая валенки. Катя и Павел крутились около него, он им что-то рассказывал — видно, смешное, потому что дети смеялись.

— Гляди, жена, — сказал он, — как я тебе ладно валенок зашил. — Он посмотрел на нее внимательно и спросил: — Ну, как там Маша, разрешилась?

— Не знаю, — ответила она упавшим голосом. — Я не была.

У нее не хватало сейчас силы лгать, ей было все равно. Или нехороша она показалась вчера Ахмету, что он так поступил с ней? Она пошла в коровник и поплакала.

Евдоким словно не замечал ничего, шутил с детьми и только после ужина, когда они остались вдвоем, сказал:

— Послушай. Сядь-ка, да обсудим, что же это у нас с тобой получается. Неважно получается. Что было раньше, то... Ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни! — сказал он и ударил по столу своей широкой твердой ладонью. — Хочешь Ахмета — будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай, слышишь? Я его сегодня чуть-чуть потрепал, а ведь если трахну серьезно, то ему живому не быть. И пойду я через тебя, дура ты баба, под строгую изоляцию, а детей куда денешь? По белому свету размечешь? Ты об этом подумала? Или у тебя ни души, ни рассудка нет, а только жадность бабья? Врешь — и рассудок есть, и душа, можешь себя придержать.

— Что ты с ним сделал? — шепотом спросила Евдокия.

Евдоким задумчиво разгладил усы:

— Ну... нашел его и говорю: забирай ее по-хорошему либо свертывай с дороги, чтобы тебя и близко не было! А он пьян, что ли, был, полез драться. Тоже!.. Отделал я его маленько: не лезь! Может, еще в суд подаст от большого ума-то.

Она закрыла лицо руками. Он продолжал:

— погоди реветь, послушай, что я предлагаю. Я же не старорежимный насильник какой-нибудь, чтоб неволей тебя держать. Если так уж полюбила, что жить без него нет возможности, — люби, что ж тут поделаешь. Но — меня при этом не будет!.. Может, боишься, что бездомной останешься? Не на улицу гоню, не бойся. Ты в этом доме как была, так и будешь, — он твой, дом этот.

Пораженная, она взглянула ему в глаза:

— А ты?..

— Обо мне разговора сейчас нет. Мы с детьми другой дом построим, ответил он. — Дети со мной уйдут: Ахметке детей не оставляю. И тебя-то оставляю скрепя сердце: только если сама захочешь. Не верю этому прохвосту, на полкопейки не верю, безответственный человек... Ну, дело твое.

Евдоким встал. Увидел ее растерянное лицо, усмехнулся невесело:

— Вот, значит, Дуня. Такое мое предложение. И ты решай скорей. Ни мне, ни тебе так жить неинтересно, как Ахмет нам определил. Из меня, скажу откровенно, за прошлую ночь десять лет жизни ушло. Решай. А на свиданья бегать — не допущу. Я не покойный папаша твой, со мной этой легкости не будет, не жди. Я за тебя ответчик, понятно тебе?

Евдокия сидела не двигаясь. Он вышел. Не в спальню — к мальчишкам в светелку пошел и затворился.

И затих дом, и она сидела одна в тишине, словно привыкая к будущему своему одиночеству.

Так вот будет она сидеть по вечерам и ждать Ахмета, — дождь будет шуметь по крыше, — а Ахмет придет ли, нет ли, — ненадежный человек, обманщик, хоть красивый, ах, красивый...

Бесконечно будет шуметь дождь, и дом будет тихий, мертвый.

А те, что вносили в него жизнь, — уйдут, и не понадобится им больше ее забота, и не будет она каждый день узнавать от них разные новости и обсуждать с ними их дела, и если,

встретясь с ней, кто-нибудь по привычке назовет ее «мама», — это уже ровно ничего не будет значить.

Евдокия горько заплакала.

Ей стало обидно за них и ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмета. Уйдут для того, чтобы она в этих комнатах миловалась с Ахметом.

А ужасней всего, что уйдет Евдоким, добрый, разумный, работающий Евдоким, без которого не было бы ни дома, ни семьи, — ничего бы не было.

Невозможно было перенести такую несправедливость, чтоб из-за Ахмета ушел Евдоким. Евдокия зарыдала в голос.

Наверно, Евдоким слышал рыдания. Но не вышел ее утешать. Она рыдала, рыдала, потом подумала: «Чего это я плачу, глупая; ведь Евдоким сказал решай. Решай, сказал. Как захочу, значит, так и решу — кому тут быть, а кому не быть».

И, успокоенная этой мыслью, чувствуя, что гора свалилась с плеч, умыла лицо, помолилась, улыбаясь счастливо и виновато, о здравии Евдокима, детей и своем собственном и легла спать. А утром, когда Евдоким и Андрей поднялись, чтоб идти на работу, уже топились, как всегда, печь, был готов завтрак, и Евдокия степенно хозяйничала у стола.

Они никому не рассказывали об этой истории. Но неведомо откуда пошла по заводу молва — может быть, от всезнающей Марьюшки, она же и подшепнула Евдокиму, что Ахмет вернулся... Молва пошла, и однажды инструментальщик Мокеев, склочник и сквернослов, обозлясь за что-то на Андрея, назвал его: «шлюхин выкормыш». Андрей ринулся драться — не успели его удержать; откинутый тяжелым кулаком Мокеева, он бросался снова и снова. Сильный Мокеев испугался иступления мальчишки, попятился, крича:

— Ну чего ты, чего, чего?! Она с татаринном гуляет, дурак!

Несколько человек схватили Андрея за руки, увели, усадили. Андрей выплюнул кровь, — Мокеев разбил ему зубы, — и сказал:

— Все равно изувечу подлеца.

Его вызвали в ячейку, уговаривали и ласково и строго, — он стоял на своем:

— Не могу его видеть. Она с меня вшей снимала...

И только когда Андрею пригрозили, что выгонят из комсомола, — он расплакался, кусая кулаки, и дал обещание не трогать Мокеева.

Евдоким не сказал жене, из-за чего Андрей подрался с Мокеевым. Больше у них не было разговора об Ахмете. И Ахмета не было: явился на миг, белозубый сатана, отуманил, ожег, набаламутил, — и нет его опять.

12

Кто-то постучал в окно. Был вечер, дети только что заснули. Евдоким еще не вернулся с завода, — верно, задержался на собрании. Евдокия вышла отворить. Улица была пуста, ни души, медленными хлопьями падал снег. Евдокия хотела уже закрыть дверь, как что-то вдруг пискнуло у ее ног. Она поглядела — на крыльце лежал небольшой серый сверток, в свертке пищало. Евдокия подняла сверток, внесла в дом и положила на мучной ларь.

Она развернула отсыревшее тряпье и вынула ребенка, мальчика. Ему было недель пять-шесть, он уже держал голову. Освобожденные ножки задвигались, подтянулись к животу. Ребенок поднес кулачок ко рту и потребовал еды. «Эге... эге... эге», — говорил он, ворочая головкой, и заплакал. Евдокия зашикала и прижала его к груди, успокаивая. Лицо ее стало взволнованным, серьезным и важным, словно это был ее ребенок и она собиралась накормить его грудью. «Эге... эге...» — говорил ребенок, перестав плакать и хватая ртом ее кофту. Евдокия положила его — он опять залился отчаянным криком, побежала к печке, налила теплого молока в пузырек, заткнула чистой тряпкой и дала ребенку. «Эге... эге...» — заговорил он яростно, почуяв запах молока. «Ага!» — удовлетворенно сказал он, поймав тряпку ртом, и стал сосать.

— Ишь, жадный! — с восхищением сказала Евдокия, любуясь им.

Накормив, она налила в таз теплой воды и стала купать ребенка. Он тряс ручками и ножками, но не плакал, и она ловко обмыла его и губами собрала воду со спинки, как делали другие женщины, — от сглазу, от наговора, чтоб рос здоровым да умным. Потом она отнесла его в спальню, на кровать.

— Вот мы какие чистенькие стали, какие красивые! — приговаривала она, вытирая его.

Ребенок молчал и все поворачивался к лампочке. Евдокия запеленала его в старую простыню. Спеленатый, он стал похож на белого червячка и так же ворочал головкой, как червячок; после мытья волосы на его темени стали черными.

— Вот так-то, лежи да спи! — сказала Евдокия, укрыла его своим стеганым одеялом и, потушив свет, пошла поглядеть, какое приданое получила за ребенком.

В сером свертке оказалась застиранная женская рубаха, обрывок байкового одеяла и грубый холщовый свивальник. Все это Евдокия вышвырнула в сени. На пол упала бумажка, Евдокия подняла ее. «Крещен Александром», было написано на бумажке. Евдокия подумала: хорошее имя Александр, можно кликать Шурой, Сашей, Саней, как понравится, а то еще Аликом.

Пришел Евдоким. Усталый и чем-то недовольный, он долго мылся под висячим рукомойником, и Евдокия заробела — вдруг он не захочет принять ребенка? Сменив одежду, он молча уселся к столу, а она, подавая ужин, все думала, как ему половчее сказать.

— Что собрание-то нынче так затянулось? — спросила она, чтобы начать разговор. Он ответил нехотя:

— Судили одного. Из заводского материала утварь делал, продавал в свой карман.

— Кто ж судил?

— Мы и судили. Собрание.

— Собрание?.. — переспросила она задумчиво, думая о своем. Погода, повела речь напрямик:

— Без света в спальне не будь, на кровать, не осмотревшись, не бухайся, не ровен час — придавишь дитя.

— Какое дитя?

— Мальчика бог послал.

Он кончил ужинать и пошел в спальню; она — за ним. Он зажег свет, откинул одеяло, посмотрел на спокойное розовое личико:

— Это чей же?

Она ответила храбро:

— Считай, что наш.

Ребенок спал, посасывая губами.

— Подкинули, что ли?

— Подкинули. Это счастье для дома, — вспомнила она и заторопилась. На подкидыша господь пошлет!

От яркого света ребенок затревожился, завертел головкой, стал выпрастывать кулачки из пеленки.

Евдоким засмеялся:

— Мальчик, говоришь?

— Александром зовут.

— Почему знаешь?

— Записка была вложена.

Он сел на кровать и стал разуваться.

— Вот те раз! — сказал он весело, глядя на важного младенца. — А я где лягу?

— Ложись к стенке, а я с ним с краю.

— А вдруг задавлю ночью? — осторожно укладываясь под необъятное одеяло, сказал Евдоким уже не шутя. — Придется люльку ему сработать, а то на самом деле опасно, кости-то у него мягкие...

Приходили соседки поглядеть, что за прибыль у Чернышевых. Хвалили ребенка, хвалили Чернышевых, ругали беспутных матерей, которые ночью на снегу, у чужого порога, кидают безвинных младенцев...

Пришла и Марьюшка. Вошла чинно, без суеты. Негромко, но требовательно опросила притихших Павла, Катю и Наталью — хорошо ли учатся, слушаются ли названных родителей и зачем дома ходят в башмаках: дома тепло, башмаки поберечь не грех, у названных родителей расходов, поди, страсть на такую ораву. Потом начальственно, как доктор, Марьюшка приказала показать младенца.

Евдокия поднесла Сашеньку, спеленатого, в чепчике с кружевцем. Марьюшка вздохнула:

— Не жилец.

Евдокия испугалась:

— Ну, почему?

— В глазок посмотри ему, — шепнула Марьюшка.

Евдокия посмотрела в голубенький бессмысленный глаз и увидела в зрачке свое лицо, а больше ничего.

— В уголок, — шептала Марьюшка. — Который живуч человек, у того в уголку ровно пупочка сидит внутри, видна ясно. У богоданного твоего младенчика пупочки не видать. Жить не будет.

Приведя всех в уныние и угостившись пенным квасом с изюмом, Марьюшка удалилась.

На другой день у Саши заболел живот. Евдокия дала ему касторки, припарки ставила — не помогло. Пришлось понести Сашу в консультацию.

— Вы, мамаша, перекормили ребенка! — гневно сказала черная докторица в белом халате. — Мы дадим ему режим!

Она приказала кормить Сашу через четыре часа, ночью вовсе ничего не давать, молоко разводить рисовым отваром. Евдокия не смела послушаться докторицы, но душа у нее изболелась, потому что Сашенька просил есть каждый час и, ничего не получая, кричал: «Эге! эге!» — пока не засыпал от изнеможения.

«Небось, твое было бы, не морила б его режимом, — думала Евдокия про докторицу. — Этак от голода протянет ноги дитя».

Но дитя не протянуло ноги, привыкло к режиму и стало спокойно спать по ночам. Это было в марте, а в апреле Павел подхватил в школе коклюш, от него заразились все дети в доме, и Саша в том числе. Старшие болели легко, а Саша так задыхался, что Евдокия при каждом приступе кашля с ужасом ждала — вот сейчас умрет. Она подолгу смотрела в Сашины глаза; но не находила той пупочки, которая дает живучесть человеку. Кончился коклюш Катя и Саша заболели корью.

— Это так не пройдет, — сказал Евдоким, глядя на пылающего в жару ребенка. — Не может такая кроха столько перенести. Ждать, видно, горя, Дуня.

Он протянул свою большую руку и бережно пригладил ее волосы. Третий месяц она не отходила от ребенка, похудела и перестала улыбаться.

— Не хочу я этого горя, Евдоким, — сказала она новым каким-то голосом, какого он у нее не слышал. — Вот не хочу и не хочу!

Ей казалось, что если Саша умрет, то в ее жизни уже никогда не будет радости.

Он болел всю весну и половину лета. У него была ветрянка, прорезывались зубы. Тихий и ослабевший, он лежал во дворе под навесом, который поставил для него Евдоким. Катя, Павел и Наталья по очереди подсаживались к нему, отгоняя мух и комаров. Особенно Катя его полюбила приносила ему в кроватку свои игрушки, разговаривала с ним:

— А каков наш Сашенька! Умник наш Сашенька! Красавец наш Сашенька!

И, глядя в лицо девочки грустными глазами, слабо, нараспев поддакивал Сашенька:

— А-а-а!

Евдокия, хлопоча в доме, то и дело через окно посматривала на Сашеньку. Однажды, выглянув, она увидела, что возле Сашиной кровати стоит чужая женщина и разговаривает с Катей. Евдокия услышала, как женщина сказала:

— Да нет, помрет. Плохой он у вас вообще.

Евдокия вышла во двор и спросила женщину:

— Ты что ходишь, каркаешь? Твое какое дело тут?

— Мое дело десятое, — отвечала женщина.

— То-то и оно. Мне дитя сглазили, а теперь еще ходят, каркают, сказала Евдокия чуть не плача. — С богом давай!

Женщина усмехнулась и пошла к воротам. Была она молода и собой недурна, только толстовата излишне и в лице нездоровая припухлость. Светлые стриженные волосы завиты мелкими колечками. На толстых ногах разношенные туфли с кривыми каблуками...

К концу лета внезапно приехал Ахмет.

Несколько раз он прошел мимо Чернышевского дома. Никто не окликнул его. Он заглянул в ворота — двор был полон детей. Девочка и мальчик копали картошку, другая девочка читала книгу, помахивая веткой над колыбелью, в которой лежал, ворковал младенец. Ахмет тихо свистнул и ушел, а на другое утро к Евдокии явилась Марьюшка:

— Ну что, Саша твой как?

— Слава богу, хорошо, — ответила Евдокия с задором. Она сидела и кормила Сашу киселем. У обоих лица были веселые.

— Закопалась ты, молодуха, в чужих детях, — посочувствовала Марьюшка. — А веку-то нам, красавица, дадено скупое.

Подбирая ложкой с Сашиного подбородка струйки киселя, Евдокия сказала нараспев, забавно:

— И какие мы такие молодухи, и какие красавицы? Наше дело старое.

— А-а-а! — отвечал Сашенька.

— Скоро будем дочек замуж выдавать, сыновей женить...

— А-а-а! — соглашался Сашенька.

— Ахмет приехал, — сухо сказала Марьюшка и для деликатности поглядела на потолок, а потом уже на Евдокию.

Евдокия докормила Сашеньку, утерла его мокрым полотенцем, поцеловала и сказала:

— Видала я его. Ходил мимо окон.

Марьюшка пожевала губами:

— Привалило ему счастье в Кунгуре — поступил в кооперацию закупщиком, большое жалованье получает, разбогател. Подарки тебе привез — шаль одну толстую, другую тонкую, с персидским узором; два отреза кашемировых, бордовый и темно-синий. Страдаю, говорит, не могу, говорит, забыть, хоть мало не убил меня Евдоким.

— Так вот мы еще какие! — сказала Евдокия, обращаясь к Сашеньке. Нам еще подарки сулят, для нас из Кунгура приезжают! А мы им скажем, продолжала она, похлопывая Сашенькиными ручками и балуясь, — а мы им скажем: поезжайте-ка назад в Кунгур с вашими персидскими узорами...

Все-таки Ахмет повстречался Евдокии на пути, когда она шла по воду. Загородил ей дорогу, маленькой жесткой рукой стиснул ее запястье:

— Что, Дуня? Что ты вздумала? Гонишь меня? Плохой стал Ахмет?

Щурясь от солнца, она спокойно, с улыбкой смотрела на него:

— Зачем плохой? Может, еще лучше, чем бывал. Да мне не надобен.

— Не надобен? — переспросил он с обидой и недоверием. И крепче сжал ее запястье смуглыми пальцами.

— Оставь руку, — сказала Евдокия и так поглядела, что его пальцы сами разжались, — равнодушно поглядела, издали, как чужая.

— Дуня, жалко, — сказал он. — Хорошая была наша любовь.

— Семейная я стала. Дети у меня.

— Чужие дети! — сказал он и осекся, взглянув в ее лицо.

— Кто виноват-то, что чужие? — сказала она и пошла от него прочь, помахивая ведрами.

Он не стал догонять ее. Все тут было кончено.

В тот же день он уехал из города.

14

Если сосчитать, то огорчений от детей было куда больше, чем радостей...

Наталья, кончив школу, поступила в техникум и так о себе возомнила, что — матушки! Она совсем отбилась от домашних дел — дескать, мать сама управится; а она, Наталья, будет заниматься немецким языком.

— Зачем тебе? — спросила Евдокия. — Тебя ведь в техникуме твоим учат немецкому.

— Учат, так что же из этого?

— И довольно с тебя. И так уж заучилась совсем — кости да кожа...

Терпеливо Наталья объяснила: в техникуме учат недостаточно, а ей надо знать по-немецки очень хорошо, чтобы читать технические книги и журналы.

— И так весь день с книжкой, мало тебе чтения... — сказала Евдокия. И получила в ответ:

— Мама, ты не понимаешь!

Павел нарисовал картинку: коричневая трава, зеленое небо, на зеленом небе длинное лиловое облако. Евдокия усомнилась:

— Нешто бывает зеленое небо!

— Бывает.

— Бывает, да не такое. Уж больно у тебя ярко.

— Ты не понимаешь! — сказал Павел. И потом рассказывал, что учитель рисования хвалил эту картинку и забрал ее для какой-то выставки. Выходило, что Евдокия действительно ничего не понимала.

Катя била всех своих сверстников на улице, и матери приходили жаловаться и ругали Евдокию — зачем она потекает. Евдокия расстраивалась, щеки ее разгорались пунцово, она горой вставала за Катю:

— Она одна зачинщица, что ль? Все дети дерутся. А твой что смотрел? Взял бы да дал сдачи. Мальчик должен за себя постоять!

А когда матери уходили, она говорила жалобно:

— Вот видишь, Катя, что ты наделала! Все нас ругают, — как же так можно!

Она не позволяла детям браниться скверными словами и даже шлепала за брань, но они все-таки бранились. Однажды Павел рисовал и вышел из комнаты, оставив на столе незаконченный рисунок и карандаши. Пришла Катя, влезла на стул и красным карандашом зачертила, замалевала весь рисунок. Сделала она это не со зла, а чтоб рисунок стал еще красивей. Павел вошел, увидел и тихо, чтоб не услышала Евдокия, сказал:

— Ты сволочь.

А маленькая Катя, спеша замалевать пустые места, пока не отняли карандаш, ответила:

— Ты сам сволочь!

15

Наталья ночевала на сеновале. Ей там нравилось, — в окно светил месяц, от прохладного сена хорошо пахло, и можно было без помехи помечтать о будущем. Она умылась на ночь холодной водой, чтобы не засыпать — мечтать подольше, поднялась по приставной лесенке и у лунного окна увидела черную фигуру с папиросой. Наталья узнала Павла и рассердилась:

— Ты с ума сошел — курить на сеновале!

Павел сказал кротко:

— Я пальцами потушу. — И он раздавил огонек в пальцах. — Наташа, сказал он, — я растратил тетрадные деньги, я подлец.

— Глупости! — сказала она. — Не может быть.

Павел обиделся:

— Дура! Говорю тебе — растратил, хорошие глупости!

Она посмотрела на него внимательно. Давно ли был маленький и говорил ей «вы». А сейчас — растратчик! И курит папиросы...

Он рассказал. Ему поручили собрать на тетрадки. Он собрал и хотел отдать Ольге Иванне, а Ольги Ивановны не было, и ему велели отдать завтра. Он шел из школы и зашел в писчебумажный магазин купить карандаш, а там как раз привезли александрийскую бумагу и краски высшего качества. А александрийскую бумагу и краски высшего качества ужасно трудно достать, завтра их уже не было бы в магазине. Вот он и купил и краски и бумагу. На другой день не пошел в школу и все время, пока шли занятия, ходил по городу и думал, где достать денег. Хотел продать учебники на толкучке, но за них давали очень мало, полтора рубля. Заходил ко всем товарищам и у всех просил займы, но набралось всего рубль шестьдесят копеек.

— Сколько же ты растратил? — спросила Наталья.

— Шестнадцать рублей.

Они помолчали, подавленные громадностью этой суммы.

— Понимаешь, Наташа, я не могу прийти с этим делом к отцу и матери. Я знаю, что они дадут, но я не могу, понимаешь? Я не могу, чтобы они узнали, что я подлец. По-настоящему, самое благородное с моей стороны было бы покончить с собой. Я не знаю, как это случилось, но если это откроется как жить? Но я не хочу умирать, и это самое подлое...

Совсем большой и, кажется, красивый — вон какой у него лоб умный и какой горячий голос! И он говорит о смерти! Наталью охватила сестринская нежность и страх за него. Она молчала, боясь, чтобы у нее не дрогнул голос.

— Какая ты, Наташка, — сказал он с тоской и обидой. — Я тебе все сказал, а ты даже разговаривать не хочешь. Эх, человек!..

Он сделал движение уйти.

— Постой, Паша, — сказала она. — Постой, я думаю. Я думаю, — сказала она медленно, — что ты еще не очень подлец. Понимаешь? Ты не совсем подлец, раз ты понимаешь, какой ты подлец... У меня есть двенадцать рублей, — продолжала она, радуясь, что может помочь ему, — я стипендию получила. И у тебя есть немножко. И я еще достану. Завтра ты отдашь эти деньги. И не говори никому, слышишь? Не будем говорить. Но помни, Паша, если это повторится хоть раз, хоть в самом маленьком размере, то я первая пойду в школу и все расскажу.

— Ну что ты за человек! — воскликнул Павел. — Как это может повториться? Такое выдумашь... Наташка, я ведь почти совсем решил пойти утопиться в Каме. Я с тобой только решил поговорить, ты это знай.

Он заплакал, стыдясь, что плачет. Она сделала вид, будто не замечает. Стояла и смотрела, как плывут в светлом окне серебряные облака, и тихонько глотала легкие слезы, бегущие по щекам.

— Ложись здесь, — сказала она потом. — Здесь так хорошо спать, Паша.

И они заснули рядом на прохладном сене, утомленные слезами и волнениями. И до рассвета в окне над ними плыли серебряные облака.

Стал провожать Наталью из техникума молодой человек приятной наружности. Раз Евдокия их встретила, другой раз встретила. Наталья идет по улице независимая и строгая, под ручку ее взять и не суйся. Молодой человек шел отдельно, на расстоянии, и оба раза что-

то ужасно горячо рассказывал и размахивал руками; и в азарте, сорвав с себя кепочку, в воздух подбросил и поймал. Понравился он Евдокии, такой молоденький да славный. Она порадовалась за Наталью, что вот, слава богу, и к Наталье пришла любовь. Баловства Наталья никакого не допустит, да и она, Евдокия, не позволила бы дочке баловаться, а честным пирком за свадьбу — это хорошо!

Она еще ласковей стала к Наталье, чтобы та без сомнений делилась с ней своими переживаниями, и зорко присматривалась, что Наталья: задумывается ли, трепещет ли... Задумывалась Наталья часто, но не трепетала и переживаниями не делилась, а ходила себе в техникум и занималась немецким языком.

Как-то, когда ее не было дома, раздался звонок, — это был тот самый молодой человек, в руках он держал цветы, обернутые газеткой. Он сказал:

— Пожалуйста, передайте это Наташе.

И бегом убежал. Евдокия вынула из вазы бумажные цветы и поставила живые. От маленьких нежных белых хризантем стало в горнице так нарядно... Она подумала: «Счастливая Наташа; мне вот никто никогда цветочка не подарил».

Пришла Наталья, Евдокия сказала:

— Гляди, чего жених тебе принес!

Наталья удивилась:

— Какой жених? — Потом засмеялась: — Ах, это Вовка!.. Ну какой же это жених, что ты, мама!

— Что ж, — рассуждала Евдокия, — сейчас вас, конечно, не регистрируют, поскольку тебе восемнадцати нету; так можно подождать годик. А он симпатичный.

— Да не будем мы с ним регистрироваться, ни через годик, ни через пять годиков. Он товарищ, мама, товарищ, и все.

Евдокия оскорбилась.

— Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что! — сказала она. — Чего ты мне голову дуришь? Нешто товарищи букеты носят? Ты б видела, как он с крыльца ринулся, чуть каблуки не оторвал! И не говори мне, что нет у него любви, а одно товарищество!

— Не спорю, возможно, — сказала Наталья и, отвернувшись, стала нюхать хризантемку, хотя известно, что хризантемы не пахнут, — но оторванные каблуки — еще не причина, чтобы полюбить человека. Это несерьезно. И извини меня, — заключила она, хмурясь и пряча в пушистых цветах порозовевшее лицо, — мне об этом неприятно говорить. Извини.

Сказала — как отрезала. И вот разберись Евдокия в этих ее делах! Такой хороший молодой человек, и такой хороший букет, и имя милое — Вова, а ей даже говорить неприятно, подумайте. Чего же ей надо? Что она себе загадала, не чересчур ли многого добивается, не чересчур ли большие поджидают ее огорчения? «Ох, не надо! Пусть счастливой будет! Пусть сбудутся ее желанья, пусть все будет ладно у девочки моей!»

17

Однажды вечером — было это в первый год первой пятилетки — Андрей не пришел с завода.

Его подождали и поужинали без него. Случалось и раньше, что он приходил поздно, загулявшись с товарищами; а тут Евдокия что-то затревожилась необычно, без меры, и тревогой своей заразила Евдокима.

Сидели вдвоем, ждали, прислушиваясь. Было душно; комары звенели вокруг лампочки... В ночи пронеслась гроза с бурным коротким ливнем. После грозы Евдоким распахнул окошко, — в комнату хлынула влажная свежесть, по мостовой шумел поток, светало... Вдруг забарабанили в дверь. Евдокия вскочила, Евдоким не пустил ее:

— Я сам.

Тяжелой походкой он пошел отворять. Она — за ним; и выглянула из-под его руки. Ватага парней стояла на улице среди луж. Парни молчали, и Евдоким молчал. Какой-то паренек в засученных по колено штанах выдвинулся, кинул папироску в лужу.

— Евдоким Николаич, беда, — сказал он.

— Живой? — спросил Евдоким.

И опять ребята молчали, медленно светлело небо, шумел поток...

Андрей лежал в гробу, и гроб был большой, как для взрослого мужчины! То, что осталось от его головы, было укрыто кисеей и цветами. Евдокия стояла в изголовье и все не могла взять в толк, как же это вышло.

Он возвращался с завода, с Кружилихи, поездом — ну да, как всегда. И товарищи были с ним, и он первый, на ходу, соскочил. Было в нем это удалство, было! — споткнулся и с размаху полетел лицом о рельс... Его подобрали с разбитым черепом, явилась скорая помощь, врач сказал, что он умер, но ребята, что были с ним, не поверили. Они звонили в комитет комсомола и прокурору, требуя, чтобы их товарища взяли в больницу и лечили. Только увидев его в мертвецкой, вытянувшегося и застывшего, они поняли, что помочь нельзя ничем. Всю ночь они бродили по городу под грозой и спорили, кто пойдет скажет семье. Никто не хотел, наконец решили, что пойдут все.

Он лежал длинный, безликий, совсем взрослый, и взрослые люди говорили о нем как о равном. Его хоронил завод, за гробом шли старики в старомодных пиджаках, девушки с венками, дети в красных галстучках. Играл оркестр, несли тяжелые богатые знамена. Безутешно плакал Шестеркин, и обливалась бурными слезами Катя.

Евдокия на людях почти не плакала; тихо утешала Шестеркина, уговаривала Катю. Но, вернувшись домой и увидев на спинке стула его старый пиджачок с торчащим из кармана изгрызенным карандашиком, — упала головой на стол, и застонала, и запричитала...

И долго, долго мучили ее Андрюшины вещи, и траурный марш все будто слышался да слышался, — безжалостно ударяли медные тарелки. А пуще всего почему-то рвало душу воспоминание, как Евдоким привел его и велел умыть, и вместо черного, измаранного кровью, нечеловеческого лица к ней обернулось беленькое, умненькое лицо ребенка...

Может, она виновата? недоглядела? Может, надо было загодя что-то сделать, что-то ему сказать, чтобы этого не случилось, чтоб он был жив и здоров? Какое-то придумать слово, предупреждение, которое его уберегло бы?

Не подумала в свое время, нерадивая, упустила. И сейчас уж поздно.

18

Евдокия пошла за покупками и взяла с собой Сашеньку. Она боялась даже на час оставить его без присмотра, — вырос и такой стал самостоятельный, озорной, Евдокии день и ночь было за него беспокойно. И, кроме того, красив стал необыкновенно; Евдокия считала — таких красивых детей больше и нет; она боялась, как бы его не украли.

Они долго ходили по обувным и мануфактурным магазинам, потом зашли в кондитерскую и купили пирожное. Сладкое тесто Сашенька съел, а крема не захотел, крем съела Евдокия. Потом они взвешивались на весах, пили воду с сиропом и купили синего фланелевого медведя с пуговками вместо глаз. Сашенька не захотел нести медведя, несла Евдокия. Вернулись домой усталые. Саша как был, одетый, лег поперек Евдокииной кровати и заснул. Евдокия сняла с него ботиночки, подложила ему подушку под голову и принялась за стряпню. Вдруг постучались, и вошла та женщина.

У нее не было ни кудряшек, ни высоких каблучков. Она вошла смиренно и попросила Христа ради. Евдокия усадила ее у двери, дала шаньгу и стакан молока. Женщина не торопилась есть, она непохожа была на голодную толстая, щеки красные; только одежда была истрепанная и грязная. Хлопоча возле печи, Евдокия спросила:

— Молодая, здоровая, — почему не работаешь? Нешто так хорошо?

Женщина не смутилась:

— Однако ты тоже не работаешь.

— Я на пять душ варю, стираю, шью. Я себя оправдываю. При мне четверо детей содержится да муж.

— Не твои дети-то, — усмехнулась женщина.

Евдокия остановилась с ухватом:

— Ну? Что ж, что не мои дети?

— Приемыши, — сказала женщина. — Кто-то носил, кто-то родил, а тебя мамой зовут. — Она залпом осушила стакан молока. — Какая твоя заслуга?! — воскликнула она, с размаху ставя на ларь пустой стакан. — Ты мучений за них не приняла! Шаньгой плотку затыкаешь! — Она кинула шаньгу Евдокии под ноги, размотала рваный платок, оторгнула, — Евдокия только тут догадалась, что она пьяна. — Вишь, какая разумная! Сто рублей давай, да еще возьму ли, нет ли, там видно будет!

— За что сто рублей? — изумилась Евдокия.

— Бона! — закричала женщина визгливо. — Безвинная какая, гляди на нее! Подавай сто рублей, а не то отдавай сына, слышь?! Пятый год сыном пользуешься, а мне шаньгу тычешь, вишь какова!

Евдокия поставила ухват и коротко вздохнула.

— Заберу, и не увидишь, у меня на него метрика есть! — кричала женщина.

— Прав твоих нету, никто его тебе, бродяжка, не отдаст! — сказала Евдокия.

— Погляжу, как вы не отдадите!

— Ты его бросила!

— Как не так! Я не в себе была, из больницы выписавшись; положила на приступку, сама под ворота отошла за нуждой, воротилась — его уж нет...

— Не ври, не ври! Ты его подкинула!

— Сама не ври! Ты его украла! На суде покажу, и метрика у меня, и свидетелей приведу, что мой! Ты — пустопорожня, чужими детьми пользуешься, чтоб не работать, возле печки сидеть! Так наш же пролетарский суд правду видит! — сказала женщина торжественно, с подвываньем. — Он тебя, паразитку, на чистую воду выведет!

В это время вошел Павел, вернувшийся из школы, и, услышав брань и крик, замер от удивления.

— Паша, — сказала Евдокия, — побудь здесь. Никуда не уходи, — и пошла в спальню. Сашенька сладко спал, приоткрыв свежий рот. Между штанишками и туго натянутыми чулками было видно его крепкое, смуглое тельце, синий медведь лежал рядом с ним.

Страшно было подумать, что он уйдет с этой пьяной бабой, которая заставит его просить милостыню, будет его бить!.. Евдокия стала на колени и открыла сундук. Там на дне, в шелковом платке, лежали деньги, которые она копила Евдокиму на костюм. Когда Наталья будет выходить замуж, Евдокиму обязательно придется купить новый костюм, старый уже плох. Евдокия тайком от мужа продавала молоко и откладывала деньги. Она отсчитала сто рублей и вышла в кухню.

— Пиши расписку! — сказала она. — Подай, Паша, чернильницу, голубчик.

Женщина подобрела при виде денег.

— Не шибко я грамотна, — сказала она примирительно, берясь за перо. Евдокия и Павел стояли и смотрели, как она пишет.

— И напиши, — сказала Евдокия властно, — что ты от него отказываешься, что ты ему не мать, а ехидна.

Женщина подписалась: «К сему Анна Шкапидар» и поставила завитушку. Евдокия взяла расписку и спрятала в шелковый платок, на дно сундука.

Наталья, окончив техникум, работала на инструментальном заводе. Она думала поработать года три-четыре, потом идти учиться дальше — в институт. Но вдруг своей волей

все переиначила и завербовалась строить город на Амуре.

— Стоило языки учить, — сказала Евдокия, которую печалил Натальин отъезд, — стоило, право, мучиться и по-немецкому и по-английскому, чтобы пни корчевать да кирпичи класть.

Наталья только улыбалась на эти слова. И уехала с комсомольским эшеленом бог знает в какую даль.

А Павел хотел стать художником.

Он не советовался с родителями и товарищами, — ему казалось, что они над ним станут смеяться; говорил о своих планах только учителю рисования Николаю Львовичу.

Николай Львович был стар, носил какие-то детские распашонки и усы как у Атоса, Портоса и Арамиса. За его манеру разговаривать с учениками ему постоянно делали выговоры и даже грозили снять с работы.

— Ну, что ты нарисовал? — спрашивал он отрывисто, глядя на чей-нибудь неудачный рисунок. — Это что за кретиническая фигура? Что ты этим хотел сказать?

Об искусстве он говорил так:

— Смотрите! Первое орудие художника — его глаза, кисть и карандаш второе. Учись глядеть не моргая. Возьми лист и смотри его на солнце. Запомни каждую жилку листа — она неповторима. Не фотографируй! Натуралистов, фотографов, жалких копиистов природы нужно расстреливать. Не фотографируй, но пойми механизм устройства, чтобы сотворить бессмертное. Тот лист, на который ты смотрел, изучая, — увянет и сгниет; лист, созданный художником, не увянет никогда: он вечен. Сомнительно, бессмертна ли богоматерь и существовала ли она вообще, но богоматерь Рафаэля существует, и она бессмертна. Будь творцом! Попирай смерть! Отделяй свет от мрака и твердь от воды! А если не можешь, то иди в водовозы.

Еще он говорил:

— Что такое красота? Мне говорят, что кудри — это красиво, а лысина безобразно. Я утверждаю: лысина прекрасна! Она обнажает благородные выпуклости черепа. Она открывает гордый и мыслящий человеческий лоб. (Я, понятно, имею в виду не лысого кретина.) Только то прекрасно, что оплодотворено мыслью. Наплюй на красоту — она затуманивает мысль. Самая красивая картина, лишённая мысли, годится только для клозета.

— Можно ли говорить так с детьми?! — возмущались педагоги. Николай Львович отвечал:

— Они понимают. А у кого вместо мозга в голове куриные потроха, тому и понимать не нужно.

И действительно, ученики его понимали и гордились тем, что он так разговаривает с ними, и урок рисования был для многих самым любимым.

Вот этому чудаку сказал Павел о своих планах. Николай Львович выслушал его и сказал хладнокровно, как о самой обыкновенной вещи:

— Ну что ж. Кончишь школу — поедешь учиться в Академию художеств.

— Николай Львович, а как вы считаете, я смогу быть творцом? — спросил Павел волнуясь. Николай Львович кивнул и серьёзно ответил:

— Сможешь.

Покраснев от радости, Павел сказал:

— Задайте мне какую-нибудь работу.

— Работу?

Николай Львович обвел глазами комнату, посмотрел в окно и спросил:

— Твой отец работает на Кружилихе?

— Да.

— А ты бывал на Кружилихе?

— Сколько раз!

— Ну вот и нарисуй мне Кружилиху.

Это было легкое задание. Павел съездил на Кружилиху, осмотрел ее с крыши дома, где жил Шестеркин, и зарисовал.

— Рисуи, рисуи! — кричал Шестеркин, стоя с ним на крыше. — Рисуи нашу маму Кружилиху!

Дома Павел разделал рисунок акварелью, добросовестно воспроизведя все трубы и дымы и для эффекта пустив на небо закатные краски. Кончив, побежал к Николаю Львовичу.

— Что ты нарисовал? — спросил пренебрежительно Николай Львович, глядя на рисунок.

У Павла похолодели уши. Он ответил еле слышно:

— Кружилиху. Вы сказали...

— Я сказал — Кружилиху. А ты нарисовал просто много труб.

— Это и есть трубы Кружилихи.

— Чепуха, — сказал Николай Львович. — А закат почему? Для красоты?

Он отбросил рисунок.

— На любой фотографии я могу увидеть лучшую Кружилиху — на закате, при луне, зимой и летом.

Павел взял свой рисунок, который теперь и ему показался отвратительным, и ушел посрамленный и несчастный. Как же ему написать Кружилиху, чтобы Николай Львович похвалил его?

Павел ходил на Кружилиху всю зиму. Шестеркин опасался за его здоровье: шутка ли, стоять часами на крыше на ледяном ветру! И в цехах бывал Павел, видел сотни машин и людей... молодых и старых, работавших на этих машинах. И он рисовал эти цеха, рисовал и рвал рисунки: это не была Кружилиха! Вот и станки стоят правильно, и люди похожи до портретного сходства, это и есть станки и люди Кружилихи, а Кружилихи на рисунке нет. Павел забывал об уроках, о еде, жил мучаясь и злясь. Кружилиха выматывала его, до мельчайших подробностей знакомые очертания труб и перспективы цехов снились ему, самое название от бесконечного повторения теряло свое значение, приобретало какой-то другой смысл. Кружилиха... Кружилиха... Похоже на женское имя. Как говорят: Степаниха, Карпиха, Чернышиха... Кружилиха...

И вдруг простая мысль осенила его, стало так светло, словно в темной комнате повернули выключатель. У него задрожали руки, судорогой перехватило горло. Как просто, как просто!.. Не слишком ли просто? Но уже всем своим дрожащим от счастья сердцем он знал, что это хорошо, что просто, — хорошо, хорошо!

Кружилиха — это и была женщина, рабочая женщина, добрая и могучая. Павел увидел свой рисунок так ясно, словно он был уже готов. Вот она, Кружилиха: не молодая и не старая, с открытым лобастым лицом, с полуопущенными глазами, сосредоточенными на работе. Рука, обнаженная до локтя, лежит на рычаге, каждая мышца руки живет во всю силу. Все на свете может сделать Кружилиха этими руками! Любую тяжесть вынесут эти крутые плечи! А за плечом, в солнечном небе, видны дымящие трубы — трубы Кружилихи!

Каждую деталь он видел: борозду вдоль щеки, проведенную заботой, и прядь волос на виске из-под косынки, и твердый мускул у основания большого пальца... Она не была красива, не гналась за красотой, и никто не потребовал бы от нее красоты: она была Кружилиха!

Он шагал домой не по снегу — по воздуху. Не было тяжелых валенок, не было морозного ветра, обжигающего лицо, не было прохожих: ничего не было, кроме счастья. В одно мгновение он перенесся от дома Шестеркина в отцовский дом на Пермской. Он взял лист бумаги и карандаш и осторожно, боясь испортить неумелым штрихом, набросал то, что стояло, закрыв весь мир, перед его глазами... И снова мгновение перенесло его в комнату Николая Львовича, неряшливую холостяцкую комнату, где усатый старик в распашонке пил чай и намазывал на ломтик хлеба яблочное повидло. Павел вошел молча и положил рисунок на стол.

Николай Львович спросил, сощурился:

— Кто это?

— Кружилиха, — ответил Павел.

Словно слетев с высоты, он ударился ногами о пол и проснулся. Тело стало тяжелым от простуды и усталости, буднично горела пыльная лампочка, собственный голос показался ему осипшим и грубым.

Он ждал. Николай Львович смотрел и молчал. У Павла начался озноб, по спине, по груди — дошел до сердца, лицо вспотело. «Если он выругает, я больше никогда ничего не смогу нарисовать», — отчетливо и холодно, без боли, подумал Павел. И вдруг услышал странные квакающие звуки. Николай Львович отвернулся, сутулая спина его запрыгала.

— Николай Львович, что вы! Николай Львович... — пробормотал Павел в испуге.

Николай Львович высморкался в большой, как пеленка, платок.

— Не обращай внимания, Чернышев, — сказал он. — Видишь ли, милый, талант — это редкость и чудо, это трогает до слез...

Потом он сказал про рисунок:

— Не заканчивай его пока. Пусть полежит. Подожди, когда у тебя будут средства для полного выражения твоей мысли. Зачем спешить с тем, что от тебя не уйдет? Ты будешь большим художником.

20

Сашенька обожал моряков. Он признавал только те книжки, где были нарисованы корабли. Одно время он цепенел и забывал все на свете при виде речников Камского пароходства; но, узнав от Евдокима, что они не плавают в море, разочаровался в них. Глядя на Каму, он убито спрашивал Евдокию:

— Зачем она в море не течет?

— А не знаю, детка, — отвечала Евдокия. — Ты у папы спроси. Стало быть, не надобно ей туда, коль не течет.

Когда ему исполнилось семь лет, она затеяла сшить ему к весне новый костюмчик с длинными брюками. Сашенька страстно заинтересовался этой затеей и ласкался и ревел до тех пор, пока она не согласилась сшить в точности по матросскому фасону, с настоящим клешем.

В день, когда происходила последняя примерка, явилась Анна Шкапидар, Сашина мать, и потребовала триста рублей. Евдокия возмутилась и выгнала Анну, не дав ни копейки.

Через две недели Евдокима и Евдокию вызвали в народный суд.

Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого черта все эти люди ссорятся. Направо и налево от судьи сидели заседатели: плотный мужчина с смешливым лицом и плотная седая женщина в мужской тужурке. На женщину эту у Евдокии было больше всего надежды.

Сперва разбиралось дело между мужем и женой, которые разошлись и никак не могли поделить имущество; а всего-то спорного имущества было письменный стол да швейная машина. «А вы умеете шить на машине?» — спросил судья у мужа, болезненно морща лоб. В зале засмеялись, а судья позвонил в колокольчик.

Потом без конца разбирали, действительно ли дворник из коммунального дома украл дрова у жильцов. Жильцы выходили по очереди из соседней комнаты и высказывали свое мнение о дворнике, а попутно и о других жильцах. Судья обеими руками держался за голову и все повторял: «Это к делу не относится, отвечайте на вопросы». Евдокия слушала, слушала — у нее самой голова разболелась... Вдруг жильцы все сразу ушли, топоча ногами, и Евдокия услышала, что слушается дело о незаконном присвоении чужого ребенка Чернышевыми, мужем и женой.

Евдоким и Евдокия стояли перед судьей. Анна Шкапидар стояла тут же, поодаль. Она была трезва, повязана красной косынкой. Долго читал секретарь, упоминая статьи закона и слова «незаконное присвоение» так часто и с таким выражением, что Евдокия совсем упала духом — вот сейчас кончится чтение и судья прикажет ей отдать Сашеньку Анне без всяких разговоров...

— Как ваша фамилия? — спросил судья у Анны.

— Шкапидар, — ответила та.

— Не может быть, — сказал судья страдальческим голосом. — Такой фамилии быть не может. Скипидар! — сказал он внушительно и обратился к Евдокиму.

Евдокия знала, что муж у нее умный и о жизни судит правильно, — если б еще он верил в бога и святых угодников, она во всем решительно была бы с ним согласна. И тут на суде он говорил так складно и дельно, что, не будь кругом чужих людей, она обняла бы его от всего своего благодарного сердца! Он рассказал, как попал к ним Саша, как она, Евдокия, кормила его из рожка, и лечила от болезней, и голову ему чесала, и не отпускала от себя. Он сказал, что Саша привык называть Евдокию мамой и незачем отрывать ребенка от семьи, где ему хорошо.

— А вы что скажете? — спросил судья Евдокию.

— Я ребенка не украла, — сказала Евдокия. — Я его на крыльце, на снежку нашла. У меня расписка есть.

И она положила на красный стол Аннину расписку. Она очень ее берегла и думала, что это важная бумага, доказывающая ее права на Сашу. Но судья, прочитав, весь сморщился, как от укуса, и сказав: «Какая ерунда!» — велел Анне рассказать, как ребенок попал к Чернышевым. Анна победно поглядела на Евдокию и пошла плести! Через два слова на третье она называла судью: «дорогой товарищ судья». Она требовала, чтобы пролетарский суд поддержал ее, трудящуюся женщину, против домовладельцев и паразитов.

— Хорошо, достаточно, — сказал судья. — У вас вопросы есть? — спросил он заседателей.

Мужчина заворочался на стуле, а седая женщина спросила густым добрым голосом:

— А где ребенок?

Она спросила это, глядя Евдокии в глаза, будто укоряя ее за то, что она не привела Сашу. Румянец ударил в лицо Евдокии, она с радостью, с любовью посмотрела на старую женщину.

— Он тут! — сказала она. — Я его привела. Тут, в коридоре бегают! Я позову!

Она бросилась к двери, но ее остановили и послали исполнителя, который привел Сашу с Катей.

Саша был в новой матроске, в брюках клеш и в шапочке с золотой надписью «Аврора». Судья спросил, как его зовут и хорошо ли ему живется у отца и матери. Саша оробел, но сказал, что он — Саша Чернышев и что ему хорошо. Судья сказал, что у него есть другая мать. Саша ответил:

— Неправда.

Судья спросил, не хочет ли он перейти жить к этой другой матери, и показал ему на Анну. Анна стала всхлипывать и тереть пальцами глаза, а Саша кинулся к Евдокии и вцепился в ее юбку. Тем дело и кончилось. Судья и заседатели ненадолго ушли, потом вернулись, и судья стоя прочитал приговор, что Саша остается у Чернышевых.

Евдоким и Евдокия возвращались домой, ведя Сашу за руки. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала — какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу.

А Саша думал, что судья соврал: не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Саша не мог понять одного: для чего судье понадобилось врать? Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что бы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого.

Несколько лет прошло.

Росли дети, учились. Павел после школы уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств.

Наталья строила город на Амуре и только раз приезжала в отпуск. Должна была другой раз приехать, но вместо того очутилась в Крыму, ее туда в санаторий послали на поправку. И долго ее не было дома — успела за это время и на инженера выучиться, и замуж выйти, и сына родить.

И вот приехала наконец и сидела в кухне, возмужавшая, пополневшая, с здоровым ребенком на коленях, одетая как дама. Инженер! Невозможно было поверить, что это та самая Наталья, что вошла когда-то в эту кухню в материнской кофте — заморыш, дичок, сирота...

— Как же вы жить будете? — спрашивала Евдокия. — Он в Комсомольске, а ты здесь?

— Да, меня сюда, а он пока в Комсомольске. Что же делать, сейчас многие в таком положении. Не хватает людей.

Евдоким спросил:

— Где работать будешь?

— У вас на заводе, папа, у главного конструктора.

— А Павел-то наш — в художники выходит!

— Да, он молодчина. Талантливый.

Наталья держалась сухо — видно, самостоятельная жизнь так ее научила. Когда нежностью вспыхивали глаза, она словно гасила эту вспышку, опуская веки. Евдоким спросил осторожно:

— Где ты думаешь поселиться? — Ведь кто ее знает, может — ей тут больно просто покажется, захочет жить в доме ИТР.

Наталья обвела взглядом кухню:

— А что, у вас очень тесно? Вы скажите прямо, без церемоний.

— Мы тебя вполне можем в угловую! — горячо вмешалась Евдокия. Только Катю к себе возьми. А Саша тут, на печке.

Наталья прошла по кухне, заглянула в комнаты:

— Пока можно так. Но долго так жить — трудно. Нас много, каждому нужен уголок, чтобы отдыхать и думать. Давай, папа, построим второй этаж.

— С материалом сейчас тяжеленько.

— Достанем. Купим какую-нибудь хибарку на снос.

— А деньги?

— Я буду зарабатывать, и Николай пришлет.

— Давай! — сказал Евдоким. Ему стало очень приятно, что она хочет жить в родном доме и сделать его больше, выше, просторней. Выросла дочь и стала рядом с ним как ровня, товарищ, помощник в жизненных делах. Новое чувство входило в душу, чувство горделивого покоя.

И они построили второй этаж. Но жить там Наталье почти не пришлось: ее муж, инженер Николай Николаевич Лукьянов, приехал и объявил, что ему надоели бревенчатые избы и палатки, он хочет пожить в цивилизованной квартире с ванной и ходить на работу пешком, а не ездить в поезде. Ему дали комнату в доме ИТР, близко от завода, и он перебрался туда, забрав Наталью и сына. Во втором этаже поселилась Катя со своими розами и геранями.

Катя была лакомка, любила танцевать и наряжаться. Она говорила:

— Больше всего в жизни я обожаю танго, потом шоколад «Золотой ярлык», потом красивые туфли, а потом уже все остальное.

Окончив семилетку, она пошла на курсы телефонисток. Ей хотелось поскорей иметь свой заработок. Ее приняли телефонисткой на Кружилиху. Домашнее хозяйство она терпеть не могла, но, чтобы облегчить Евдокию, бралась за самую трудную работу: носила воду, стирала, мыла полы, — все швырком, сердито сопя и молниеносно. С охотой занималась только цветами, развела их множество, и все они были такие же свежие и нарядные, как она сама.

Красотой она не отличалась — узкие глаза, нос и рот словно топором вырублены, широкоплечая, приземистая. Но это не мешало ей нравиться, вот нистолечко не мешало! Она была такая живая, так кокетливо одевалась и причесывалась, а в танцах становилась такой легкой и ловкой, что все находили ее очень привлекательной девушкой.

Молодые люди приглашали ее в театр, провожали домой и норовили поцеловаться. Она гордилась своим успехом, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее по-настоящему, *глубоко и страстно*, как описывается в романах, — страдал, стоял на коленях, ревновал, не спал по ночам, мечтая о ней.

Она подружилась с Настей Нефедовой, машинисткой заводууправления. У Насти была такая же шестимесячная завивка, и такие же небрежно, кое-как набросанные черты лица, и такая же жажда любви. В обеденный перерыв Катя с Настей, вымыв руки и попудрив носики, под руку вприскок бежали длинным коридором в столовую, на бегу поверяя друг дружке свои секреты.

Очень хотелось Кате, чтобы ее полюбили. Ожидание любви, готовность к любви на ней были как бы написаны. И нашелся человек, который откликнулся на этот пламенный зов.

На завод поступил слесарь-лекальщик Дмитрий Колесов. Это был отличный мастер, артист своего дела, несмотря на молодость. Но из-за капризного характера нигде не мог долго ужитья — считал, что его мало ценят. Перебрал несколько заводов в разных городах и отовсюду уходил со скандалом.

Он познакомился с Катей в клубе, танцевал с ней и провожал домой. Прощаясь, задержал ее руку и спросил:

— Вы не видите, что я страдаю? Нет?

Голос у него был глубокий и страстный, он не отпускал шуточек, не говорил глупых комплиментов, сразу был виден культурный человек, понимающий, как надо любить.

Катя поднялась к себе на второй этаж будто на крыльях. Он страдает! Может быть, он не спит по ночам? Может быть, сейчас он идет шатаясь, как пьяный, оттого, что она засмеялась ему в ответ?

Ах, как прекрасно, если он шатается от такой причины!

Сама она эту ночь не спала. Думала о нем. Воображала его глаза, губы, прическу. Ворочалась, вздыхала, вставала — подходила к окошку и, как предписывается в романах, прижималась горячим лбом к холодному стеклу. В романах всегда в различных чрезвычайных случаях прижимаются лбом к стеклу. И обязательно стекло бывает холодное, а лоб горячий.

Дивная ночь начала любви!

Дмитрий Колесов... божественное имя, чистая музыка, только вслушайтесь: Дмитрий Колесов! Дмитрий Колесов был форменный Ромео, и форменный Отелло, и кто хотите! Он стоял на коленях! Он терзал Катю ревностью! В выходные дни он увозил ее за город — *прочь от шумного света*.

Что это было за счастье! Ни в одном романе не описано ничего подобного. И то, что оно было тайной для всех, — так думала Катя, — и то, что Митя капризничал и требовал, чтобы она ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела, — еще больше околдовывало и приковывало Катю.

Только раз, вдруг отрезвевшая среди поцелуев, она спросила, стыдясь своего вопроса, который казался неуместным и грубым, разрушающим *неземные очарования* :

— Митя, мы поженимся?
— Да! Да! — ответил он. — Но подождем еще немного, хорошо? Так ведь лучше, правда?
— Лучше, — прошептала Катя.

23

Это был хороший, удачный год.

Цех, где работал Евдоким, занял на заводе первое место. Рабочих премировали богатыми премиями, и Евдоким получил золотые именные часы. Евдокия была с ним во Дворце культуры на торжественном вечере. Сидела праздничная и солидная, в новом шерстяном платье с брошкой, и Катя надушила ее своими духами. А Евдоким, был в президиуме, и Евдокия не могла налюбоваться на дорогого своего мужа, которого все уважают и хвалят.

Наталья родила здоровую девочку, назвали Еленой. Беременность и роды не помешали Наталье работать. Ее назначили в комиссию, которая разрабатывала какой-то важный проект, и даже по ночам ей звонили по телефону.

Сашенька, главный человек в Евдокином сердце, был хороший мальчик озорной, правда, но не сквернослов, не хулиган; играл в волейбол и все читал книжки про морские путешествия.

В конце мая приехал Павел, Павел Петрович Чернышев, художник. Он привез свою жену Клавдию — очень молодое, очень хрупкое создание с желтыми волосами и красными ногтями, в платьях невиданных цветов и фасонов.

Мыслимо ли носить такие высокие каблуки! Да еще мало ей было каблуков, она все время приподнималась на носках, вытягивалась, словно силилась совсем отделиться от пола и взлететь. Две минуты подряд не могла пробыть в одном положении, все меняла позы.

Стол был накрыт парадной скатертью, пили за молодых. Павел краснел и глаз не сводил с жены, и было ясно, что он пойдет за ней, куда бы она его ни поманила.

— Вы все очень ей понравились, — сказал он потом, — и ты, Катя, тоже.

— И она мне нравится, — сказала Катя. — Она безумно интересная, Паша!

— А тебе, мама? — спросил Павел.

— Хороша, ничего не скажешь! — ответила Евдокия. — Одно мне немножко не понравилось — что она при всех достала помадку и губы накрасила.

— Ну что ты. Сколько женщин красят губы.

— Так не при всех же. И зачем курить? Вредно для здоровья и смотреть неприятно.

— Она красиво курит, — вступилась Катя. — Мечтательно.

— Я написал ее портрет с папиросой, — сказал Павел. — Лицо сквозь дымку...

— Что ж тут красивого? Молоденькая, а дымит, как паровоз.

Павел засмеялся и поцеловал Евдокию в волосы:

— Мама, милая, все замечательно!

Павел приехал на долгое время — писать картину, которую ему заказали для музея. Они с Клавдией поместились наверху в большой комнате, а Катя перешла в маленькую. С раннего утра Павел ходил на Каму и там писал, установив мольберт на берегу. Он носил синий берет, чтобы волосы не трепались на ветру и не мешали работать. Евдокия приносила ему завтрак. Почему-то ей было его жалко — что он какой-то не такой, как все, ходит в женском головном уборе, люди работают на заводах и в конторах, а он сидит один на берегу и рисует...

Нарисовавшись, он шел встречать Клавдию с работы: она поступила в горторг управляющей делами. По вечерам Павел и Клавдия ходили куда-нибудь или у себя принимали своих знакомых. Клавдия угощала гостей наверху, вниз не приводила. Евдокию это обижало. Она думала, что неизвестно, как там Клавдия управляет делами; а уж Павлом управляет шибко хорошо, он без нее не чихнет и не кашляет.

Катя работала в вечерней смене.

Был партийный день, коммунисты ушли на собрания, звонков было мало. Катя сидела и вспоминала, что говорил ей на последнем свидании Митя и какое у него было при этом выражение лица. Вдруг в окошечко из коридора просунулась голова Насти Нефедовой.

— Катя! — сказала Настя. — Ой, Катечка!

Катя сразу поняла, что случилось что-то ужасное.

— Что? — быстро спросила она, бледнея. Настя оглянулась — кто-то шел по коридору — и бухнула сразу:

— К Мите Колесову приехала жена.

Зазвонили из диспетчерской. Катя сказала мертвыми губами:

— Дежурная...

Спрашивали главного инженера. Катя не ответила и не соединила, сидела без движения, глядя на щит с рядами блестящих дырочек.

— Ей уже всё доложили, — шептала Настя, боязливо глядя на Катю. — Она пошла к тебе.

Ах так! Катя распрямила плечи и твердой рукой соединила диспетчерскую с библиотекой. Битва так битва. Она будет сражаться за свою любовь всеми средствами, какие у нее есть! Митя обманул ее? Подумаешь! Обманул, потому что любил! Кому какое дело?! Хорош он или плох, она его никому не отдаст! Плевать ей на всех!

Шаги по коридору приближались. Кто-то шел тяжелой походкой, медленно, с остановками: читает надписи на дверях, ищет... Катя встала и вышла в коридор навстречу сражению.

Большие голые лампы освещали пустой коридорный туннель. Из гулкового туннеля подходила женская фигура. Высокая, простенькое маленькое безбровое лицо... Это жена Мити? Узел русских волос развалился, старый желтый полушалок спущен на плечи. Никакого изящества... Она беременна, несчастная! Яркая стена, белая и коричневая, закачалась в Катиных глазах.

Женщина подошла, скользнула взглядом по дверной дощечке и остановилась. Левую руку с горстью подсолнечных семян она держала под грудью, правой брала семена и бросала в рот; серая скорлупка прилипла к ее подбородку. Без ненависти — с тихим отчаяньем она посмотрела на Катю: признала. По каким-то ей самой неясным приметам признала.

«Беременна, как факт», — тупо подумала Катя. Она не знала, что сейчас скажет. Только знала, что будет врать, потому что надо врать. «Ей рожать совсем уже скоро. Ребенок будет. Без отца будет ребенок. А она простота отпетая. С кем сражаться, как тут сражаться!..»

— Что вам? — спросила она.

Женщина ответила негромко:

— Смотрю.

— Дело есть, что ли?

— Смотрю... — Митина жена задохнулась от волнения — ...какие бывают разлучницы.

Катя засмеялась:

— Разлучницы? Я, что ли, разлучница? С кем же это я вас разлучила?

— С мужем моим Дмитрием Ивановичем Колесовым ты меня разлучила. Ты кто такая? Как твоя фамилия? Моя фамилия — Колесова, я с ним пять лет, зарегистрированная, почестному прожила. А ты кто?

— Жила пять лет — живи шестой, мне не горе! Нужен мне твой Дмитрий Иванович! Никогда не был нужен и вперед не польщусь. И откуда ты взялась? — вдохновенно продолжала Катя. — Налетела, привязалась со сплетней какой-то!

Колесова возмутилась:

— Сплетней? Ой, девка, от людей не скроешься! Люди, спасибо им, всё рассказали! Под ручку с ним гуляла...

— Мало ли с кем я ни гуляю под ручку! До моей ручки охотников много. — Ложь душила Катю, но надо было доврять до конца. — Нехорошо, дорогая: поверила сплетне и пришла меня срамить. Я замуж собираюсь, а ты меня ославить хочешь неведомо за что. Не веришь? Так вот же, с сего дня не подойдет ко мне твой Дмитрий Иванович! На пушечный выстрел не подойдет! Можешь у людей своих проверить! Не посмотрю на него и «здравствуйте» ему не скажу! Бери его себе! — сказала Катя и ушла в телефонную.

— Врешь! — растерянно сказала Колесова, стоя у запертой двери.

Катя выглянула из окошечка:

— Ты еще здесь? Иди, все сказано, не о чем говорить больше.

— Ты обманываешь, — нерешительно сказала Колесова.

— Да не мешай мне тут! — воскликнула Катя. — Работа не ждет, пока я тебе отбожусь! Иди, иди, живи с мужем, зарегистрированная, роди ребеночка без страха!

— Не обижайся на меня, — попросила Колесова и заплакала.

— Я не обижаюсь, — сказала Катя. — Не реви. Тихая ты... Другой раз слышишь — не так воевать-то надо за свое счастье.

— А как? — простодушно спросила Колесова, уже доверчиво глядя на Катю.

— Не знаю, — отвечала Катя. — Мне не доводилось. Только — не так.

Она заметила, что диспетчерская до сих пор соединена с библиотекой, и разъединила их. Завтра она получит выговор. Может быть, ее даже уволят с работы. Все равно!

Колесова ушла. Катя прислонилась головой к щиту с дырочками и словно уснула.

— Катечка! — сказала Настя. — Ты же это не серьезно, что на пушечный выстрел?..

— У нее будет ребенок, — сказала Катя. — Ты видела.

— Как ты можешь! — сказала Настя.

— Иди отсюда, — прошептала Катя, повернув к ней осунувшееся, серое, не свое лицо. — Не трогай меня. Дуры мы, ох дуры...

Она не вполне сдержала обещание, данное Колесовой. И недели не прошло, как Митя подошел к ее окошечку, и она не прогнала Митю и разговаривала с ним, только не «здравствуй» сказали они друг другу, а «прощай».

Встреча с Колесовой была в июне тысяча девятьсот сорок первого года, за несколько дней до двадцать второго числа, когда началась война. Митю мобилизовали сразу. Подошел он к Катиному окошечку в плохонькой одежде идя в военкомат, надевали что ни есть постарей, хорошие костюмы оставляли дома, — в плохонькой одежде, с противогазной сумкой через плечо, враз повзрослевший, будто впервые задумавшийся о вещах, которые прежде не приходили ему в голову...

25

И Павел получил повестку. Стараясь быть веселым, он сказал Евдокии:

— Ну, мама, пошли воевать!

Клавдия, придя с работы, застала в доме сборы. Павел разбирал свои рисунки, Евдокия месила тесто, Катя стирала Павлу белье. Клавдия ахнула, побледнела, возмущилась:

— Ты же художник... Я не понимаю... Ты должен хлопотать... Просто нелепо, чтобы талантливый человек шел под пушки!

Очень тихо Павел сказал:

— Подумай, что ты говоришь, Клаша.

Клавдия заплакала, бросилась ему на шею:

— Не сердись! Я тебя люблю! Неужели это конец нашему счастью?

— Не знаю, — сказал он. — Но пока я буду жить, я буду любить тебя. Помни.

— Ничего не конец, — сказала Катя от корыта. Распрямившись, она откинула мокрой рукой упавшие на лоб волосы, вымытые ромашкой, с завивкой «перманент». — Ничего не конец. Распустили нюни. — Она схватила корыто и грубо сказала: — Убирайтесь, не то ноги оболью. Крутитесь тут... — и выплеснула помой в ведро, обрызгав весь пол.

— Ну чего ты, чего? — сказала Евдокия, когда Павел и Клавдия ушли наверх. — Брат на фронт уезжает, а ты грубишь.

— Подумаешь, разнежничались! — ответила Катя. — Я сама еду на фронт. Не говори мне ничего! — крикнула она. — Вот уеду и вернусь, посмотришь обязательно вернусь!

— Тьфу, верченая, — сказала Евдокия с негодованием. — Ты не знаешь, как и ружье-то держать.

— Во-первых, мама, знаю; только оно называется не ружье, а винтовка.

— А кроме того, — сказал четырнадцатилетний Саша, находившийся тут же и напряженно слушавший, — Кате самое правильное идти по своей части: связисткой.

— Ты знаешь, что ей самое правильное! — сказала Евдокия. — Это же бог знает что — чтобы девушка на войну шла.

Катя молчала, только вода плескалась в корыте.

— Отец знает? — спросила Евдокия.

Он уже знал. Ему на заводе сказали, что Катя подала заявление о своем желании отправиться в действующую армию. Евдоким только кивнул — говорить было нечего. Зато другие говорили о Кате, и некоторые спрашивали:

— А как же насчет танго и туфель?

— А это — для мирного времечка, — отвечала Катя. — Отвоюемся — опять надену мои туфельки чудненькие и пойду танцевать.

Прощанье с Павлом вышло печальным, хотя все крепились. В старом костюме, с рюкзаком за плечами, Павел уже не был похож на художника, человека, отмеченного особым даром и особой долей, — самый обыкновенный был призывник, как все молодые люди. Клавдия в своей модной шляпе из прозрачной соломы стояла рядом с ним. Она одна, по его желанию, шла проводить его до призывного пункта, остальные прощались дома. Пришла и Наталья с мужем. Присели на дорогу. Павел поцеловался со всеми и сказал:

— Мама, родная, никогда...

Он не договорил, взял Евдокию за обе руки и, низко склонившись, одну за другой поцеловал эти крепкие ласковые руки. Потом вышел, неловко задев плечом за притолоку, а Катя зарыдала и бросилась за ним. Вся семья стояла у калитки и смотрела, как он шел по улице, удаляясь от дома. Клавдия шла с ним и держала его за руку, но он уже чем-то был отделен от нее, как от них всех.

Потом и Натальин муж уехал, а там и Катя. Опустел Чернышевский дом.

26

Евдокия не знала географии и никогда не предполагала, что в СССР так много городов. Есть Урал, а на Урале ихний город, еще Челябинск, Пермь, Свердловск и разные не столь большие поселения, вроде Курьи, где Евдокия в былые времена покупала сено для коровы. Еще есть Новосибирск, Киров бывшая Вятка, Горький и — очень далеко — Москва и Ленинград. И вдруг оказалось, что городов у нас великое множество, и немцы их забирали и забирали. Как же так? Где ж им остановка, окаянным?

Она не любительница была хныкать и держалась спокойно, как раньше, но сердце ныло не переставая. Дети, дети! Паша! Катя! Молодые, милые! Сашенька подрастет и тоже уйдет воевать, он и теперь уже ждет не дождется своего дня, — Сашенька, главная боль, главная утеха в жизни!.. Ворочая чугуны в печи, Евдокия шептала псалом царя Давида: «Не убоишася от страха ночного, от стрелы, летящая во дни, от вещи, во тьме приходящая, от нападения и беса полуденного... На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия...» Но аспиды всё катились да катились вперед, они забрали Украину, обложили Ленинград, стояли уже под Москвой.

Из Ленинграда, Москвы, Киева понаехали эвакуированные. Они жили во всех домах. У Евдокии комнату наверху забрали под приезжих ленинградцев профессора, его жену и двух жениных сестер. Профессора, седого и деликатного, Евдокия жалела. Тихо и косолапо

спускался он сверху в своих валенках, которые не умел носить, и, стараясь не шуметь и не брызгать, умывался в сенях под висячим рукомойником. А с бабами — профессоршей и ее сестрами — Евдокия с первых же дней вела негромкую, но ожесточенную войну за чистоту. Они хвастались, какие у них в Ленинграде были квартиры и какая мебель, и как они ходили по музеям и театрам, — а теперь, жалобились, приходится жить в невыносимых условиях. Ни одна из них не была приучена к простому обиходу, к домашней работе, ни одна не умела варить в русской печи. Евдокия скрепя сердце помогала им стряпать и убирала за ними, грязи и беспорядка она не могла перенести. Она убирала, и они же на нее обижались и ставили ей на вид, какая она некультурная и какой у нее плохой, неблагоустроенный дом. Евдокия считала недостойным с ними связываться. Да и не переговорить бы ей троих таких тараторок. Но она их терпеть не могла. Одного профессора уважала и старалась ему услужить.

Как ни удивительно, вражда с тремя жиличками смягчала Евдокиину горечь и помогала пережить тяжкое время.

А Шестеркин опять запил. Как-то явился пьяный, плакал, буянил, грозил Евдокии, что скоро немцы и на ее дом станут бомбы кидать; и, показывая, какие тут будут опустошения, разбил два цветочных горшка. Евдокия разгневалась и вытолкала его вон. Он кричал:

— Дура набитая! Ты считаешь, я пьяница! Я от унижения пью! От скорби! Дура!..

Зима в тот год грянула рано и была лютая, грозная. Неистовые метели неслись над черными лесами, над суровым городом, над денно и ночью дымящими трубами Кружилихи. К тучам взвивались метели, от морозов и несчастий костенела душа. Когда ушел пьяный Шестеркин, Евдокия села на ларь, стеная без слез и ломая руки. Не о детях было в ту минуту ее горе, она, как и Шестеркин, исходила скорбью о чем-то таком огромном, чего даже не могла уразуметь хорошенько.

— Проклятые, — шептала она.

Такой застал ее Евдоким. Обнял ее, бережно погладил по спине:

— Ну чего, Дуня? Ну, не надо. Переживем, Дуня...

Он был мастером кузнечного цеха, и работы ему хватало, не каждую неделю домой удавалось выбраться. И, как депутат, он занимался эвакуированными, их устройством, болезнями, претензиями. Он не уставал, верней сказать — не чувствовал усталости: некогда было. Но иногда ему изменяло его рассудительное отношение к жизни, он начинал раздражаться по пустякам и покрикивать на людей. «Спокойно, спокойно! — говорил он себе. Это ведь только начало, впереди еще много чего будет, побереги нервы давай!» — и опять срывался. Чаще всего его сердили эвакуированные, которые всё на что-то жаловались и чего-то просили. Он раздражался и повышал голос, а потом ему становилось стыдно: вспоминал, что эти люди оставили свои жилища, друзей и многие семью, что вот у этого человека, на которого он сейчас кричал, дети, жена и мать за тысячи километров отсюда, в осажденном городе, — может, умерли от голода и холода, может, их изувечила бомба, — а он-то, человек, стоит у станка и работает... И Евдоким говорил отчаянным голосом:

— Ну, не обижайся. Ладно, поговорю с директором, поищем тебе новое жилье...

Встречаясь иногда на заводе с Натальей, он наскоро перебрался с ней парой слов — что пишет Николай, как дети... Однажды заметил, что она исхудала и пожелтела; пригляделся — а у нее на виске седые волосы... Евдоким спросил:

— Ты чего такая?

Она нахмурилась:

— Такая, как все.

— Что мужик пишет?

— Ничего особенного. Жив.

— Ты детей к нам приводи. Пусть у нас живут.

— Хорошее дело. Нарожала да матери спихну?

— А ты давай не разговаривай! — закричал он, уже убегая. — Давай приводи, сказано тебе!

День и ночь дымили трубы Кружилихи.
Шли на запад сквозь пургу эшелоны с танками и орудиями.
Однажды Евдоким, придя домой, сказал Евдокии:
— Ну, Дуня, немцев отогнали от Москвы.

27

Идут дни. Идут годы.

Враг отбит. Полчища аспидов откатились на запад. Где-то у самых границ фашистской Германии сражаются теперь Павел и Екатерина Чернышевы. Радио передает, что ни вечер, приказы о победах. Люди ходят повеселевшие и подобревшие.

Сашенька дождался своего часа — записался добровольцем. Но не добился, чтобы послали на фронт. И на корабль не попал, а держат его, к великому облегчению Евдокии, в тылу, в сухопутном училище.

Наталью назначили помощником главного конструктора. Детей, Володю и Лену, она давно перевела на улицу Кирова, к Евдокии, а сама живет на заводе — ночует в дежурке, завтрак и обед ей приносят в конструкторскую. Она стала как будто еще выше, в ее голосе и осанке выражение властности. Сбываются ее мечты. Ей кажется, что вся ее жизнь — здесь, что дети ей помеха, напрасно она их родила... Но вот дети заболели корью, и Наталья с трудом сосредоточивается на работе и не дожидается вечера, когда можно съездить к ним, своей рукой дать лекарство, поставить градусник, приласкать. И, равнодушная к еде, презиращая разговоры о пайках и карточках, она приходит в восторг от того, что в заводскую лавку привезли варенье — настоящее сахарное варенье, вишневое! Она несет полную банку и улыбается, предвкушая, как обрадуются дети, как Лена завизжит, а Володя крикнет: «Бабушка, где моя ложка?»

Дни идут.

В газете, в списке награжденных орденами, напечатано имя Чернышева Павла Петровича. Евдоким и Евдокия только собирались написать поздравление, — а от Павла письмо из госпиталя: ничего, мол, серьезного, рана пустячная, потерял немного крови, но ему сделали переливание, и он уже поправляется. Хорошо, коль правда!.. Он просит не беспокоиться, только писать почаще. Что-то от Клаши редко приходят письма... Тут Клавдия отводит глаза, а Евдокия вздыхает потихоньку. Уже два раза приходил тут какой-то в модном пальто, с черными усиками, ничего, приличный, вежливый встретив Евдокию в сенях, посторонился и поднял шляпу... Но Евдокия готова побожиться, что брови у него подбритые, как у женщины, и не понравился он ей, бог с ним! Она спросила Клавдию:

— По делу приходил?

— По делу, — так же коротко ответила Клавдия, и весь день они не разговаривали — дулись друг на друга.

После этого красавец с подбритыми бровями больше не показывался. Зато Клавдия совсем перестала бывать дома по вечерам.

И еще большая неприятность. Евдокия недоглядела и Катину меховую горжетку побила моль. Катя думала сделать из этой горжетки воротничок и муфту, а моль проела три плешины на самых видных местах, и Евдокия ума не могла приложить, как написать Кате об этом несчастье.

Москвичи, ленинградцы, киевляне разъехались по своим местам. И профессор со своими тараторками уехал осенью сорок четвертого года. Все четверо горячо благодарили Евдокию за гостеприимство — да, подумайте, эти вздорные старухи тоже благодарили ее со слезами на глазах и целовали, счастливые, что возвращаются домой. Евдокия собирала их в дорогу и связала на память профессору шерстяные носки.

28

Клавдия пришла из театра, встала коленями на стул, прилегла на стол головой и грудью и томно сказала:

— Ну вот, я уезжаю.

— В командировку, что ли? — спросил Евдоким. Клавдия поднялась, вся вытянулась — вот сейчас отделится от пола и полетит; достала портсигар, скрутила папироску.

— Нет, совсем. Дайте огонька, Евдоким Николаич.

Держа перед ней зажигалку, Евдоким переспросил:

— Как совсем?

Евдокия замерла с полотенцем и тарелкой в руках. Клавдия изо всех сил затянулась дымом:

— Так... Приходится.

И заплакала:

— Как будто я виновата. Разве прикажешь чувству? Я хочу счастья... Это не жизнь! Молодость уходит...

Евдоким сказал тихо:

— Ну хорошо. Ну, допустим, увлеклась. Но ты же хоть возьми во внимание, что Паша еще в госпитале.

— Вы меня сами вчера уверяли, что с ним ничего опасного. Что он там в госпитале здоровей, чем многие здесь в тылу.

— Все-таки не так же просто — нынче с одним счастье, завтра с другим. И сразу — нате вам — уезжаю!

— Он несчастный, — всхлипывала Клавдия. — Он из Литвы, у него фашисты всех убили.

— Зачем торопиться уезжать? — уговаривал Евдоким. — Обожди несколько месяцев, вернется Паша, теперь уже недолго; обсудите между собой, может, Паша тебе покажется лучше.

Клавдия зарыдала и захохотала, все сразу.

— Какой вы чудак, Евдоким Николаич. Что же тут обсуждать? Старая любовь умерла. Он уезжает на родину, я еду с ним...

— Ты послушай! Клаша!

Но тут Клавдия взвизгнула:

— В конце концов я ему жена!

Евдоким встал и ушел в спальню.

Евдокия сказала:

— А зачем он брови бреет? Несчастный, а брови бреет.

— Замолчите! — еще пронзительнее взвизгнула Клавдия. — Что вы понимаете!

И убежала наверх, мелко стуча каблуками по лестнице. Евдокия подумала, сняла передник, обтерла руки, стала натягивать пальто. Вошел Евдоким:

— Куда ты, Дуня?

— К Наталье. В завод.

— Зачем?

— Может, она ее уговорит.

— Сиди дома, — сказал Евдоким. — Наталья об такое дело мараться не станет.

И прибавил, помолчав:

— Сама слыхала — жена она ему. Этому...

Евдокия вздохнула и стала снимать пальто.

В молчании прошел час. Евдокия сказала:

— Я ее позову.

— Зачем?

— Она не ужинала ничего.

— Зови, — грустно сказал Евдоким.

Евдокия взошла наверх, отворила дверь. Клавдия лежала на кровати одетая, читала книгу.

— Клаша, — сказала Евдокия, — поужинай иди.

Клавдия опустила книгу и посмотрела на нее заплаканными глазами.

— Мама, — сказала она, — мне, правда, ужасно тяжело, что так получилось. Ах, бедный Паша, бедный! Но я ничего не могу поделать, сказала она с восторгом, закрыв книгой лицо, — я люблю!

29

В старой жестяной коробке от монпансье хранятся письма Павла, Кати и Саши. Каждое из этих писем Евдоким и Евдокия знают наизусть.

Вот письмо Саши:

«Милые мама и папа!

Пишу вам в чудовищном настроении, и может ли быть веселым человек, у которого все висит на волоске по той дурацкой причине, что он на год или на два опоздал родиться, ведь война идет к концу, а нас продолжают держать в училище, и нам угрожает, что мы не примем участия в военных действиях, а будут нас водить на занятия и в столовую, так что даже к шапочному разбору не попадем, как пессимистически выразился один мой товарищ, с которым мы написали заявления, требуя, чтобы нас пустили на линию огня, мотивируя, что мы шли добровольцами не для того, чтобы нас держали в тылу, но эти заявления ни к какому результату не привели, так что мы написали также в ЦК ВЛКСМ, надеемся, там отнесутся более чутко, о результатах вам сообщу.

Любящий сын

Александр Чернышев».

Письмо Кати:

«Милые папа и мама, до чего меня расстроило ваше письмо! До чего жаль Пашу!!! Что касается Клавдии, то скатертью дорога! Больно ненадолго хватило ее любви! Черт с ней!!! Я бы на месте Паши не стала плакать! Но он будет безумно страдать, я знаю! Он ее любит глубоко и страстно!!! Папа и мама! Вы мне обязательно пишите, как он реагирует! Мамочка! Отнеси Нине Калистратовне мое белое платье, что разорвалось на спине! Пусть она мне из него сделает блузку! К костюму, понимаешь? Желательно помоднее!!! Только я не знаю, как теперь носят! Гоним фашистов в хвост и в гриву! Да вы по сводкам знаете! Мамочка, попроси Нину Калистратовну, чтобы не очень копалась! Целую вас крепко-крепко, папа, мама, Наташа, Володя и Леночка!!! Кланяйтесь всем знакомым девочкам! Пишите как можно чаще и подробнее!

Ваша Катя.

Уверена, что вы ей ничего не сказали! Напрасно! Уж я бы ей отпела! Я бы все ей сказала, что думаю о ней!!!»

Письмо Павла:

«Мои дорогие.

Спасибо за сердечные письма. Я уже совершенно здоров и возвращаюсь в строй. Пришлю новый адрес. Самочувствие у меня хорошее, не беспокойтесь обо мне. Горячо вас целую.

Павел.»

И о Клавдии — ничего, будто не было ее...

30

Вечером в субботу приходит с завода Наталья.

Нахмуренная, с сжатыми губами, она приносит воду на коромысле, топит баню, купает детей — все быстро, молча. Потом сама купается и выходит повеселевшая, румяная, в красивом халате. Целует детей и говорит:

— Всю усталость с себя смыла.

Дети сидят на лежанке и болтают босыми ногами. Наталья укладывает их и по узкой лестнице с крутыми ступеньками поднимается в комнату Павла. С тех пор как уехала Клавдия, там никто не живет. На стенах висят рисунки. На одном пейзаже написано мелко: «Клаше, любимой, вечно памятный день 18.III.40 г.». Кроме этой надписи, ничто здесь не напоминает о Клавдии. Она забрала все до нитки, только этот пейзажик, дареный, с посвящением, видно, некуда было сунуть...

Наталья зажигает настольную лампу и садится писать письма мужу и брату Павлу. После отъезда Клавдии она пишет Павлу каждую субботу. Ни слова о Клавдии, ни слова об усталости, о том, как трудно. Написать о детях, об отце с матерью; о работе; о том, что скоро конец войне, разлукам, несчастьям...

Воскресным утром Евдокия идет на рынок. Там толкотня, продают свиную тушенку и колбасу в жестянках, молочницы и торговцы сладостями зазывают покупателей, певцы поют о громах победы, о верности жен и геройстве мужей, гадатели предсказывают будущее. Евдокия не прочь бы погадать и на картах, и на бобах, и в таинственных книгах, по которым предсказывают плутоватые слепцы, но ей совестно: увидят знакомые, подумают — «а жена Евдокима Николаича, Натальина мать, совсем некультурная баба, темнота». Неприятно будет и Евдокиму, и Наталье. Евдокия отвернувшись проходит мимо женщин, теснящихся возле гадателей: может — наверно даже — среди этих женщин есть знакомые; им тоже неловко будет, если она их увидит за этим занятием.

Евдокия возвращается домой. Печь уже вытоплена, и они садятся завтракать впятером — Евдоким с Евдокией, Наталья и дети. Не по-воскресному просторно за большим столом, пусто в чернышевском доме! Но белы как снег занавески, пышно цветут Катины цветы, в полном порядке всё словно только что вышли молодые хозяева и сейчас войдут опять. В чистой рубахе сидит, отдыхая, на всегданнем своем месте Евдоким. С прежней степенной повадкой движется между печью и столом Евдокия. Как прежде, чуть-чуть лукаво смотрят ее светлые глаза в легких морщинках, чуть-чуть улыбаются полные губы, но новым светом светлы этот взгляд и эта улыбка светом материнской любви и материнского терпения. Прямая, красивая, с первыми ниточками седины в гладко причесанных волосах, сидит Наталья, присматривая за детьми — чтобы не вертелись, не вскакивали, чтоб правильно держали ложку.

— Уж ты их муштруешь, как солдат, — говорит Евдокия. — Когда же ребятам и повольничать, как не в эти годы.

— Они и есть солдаты, — отвечает Наталья. — Мы все сейчас солдаты.

Володя поджимает ноги под стул и делает суровое лицо.

— А ты не помнишь, Дуня, — спрашивает Евдоким, — от какого числа последнее Катино письмо: от шестнадцатого или от семнадцатого?

Евдоким знает, что письмо от шестнадцатого; но он спорит с женой, чтобы, придравшись к случаю, достать письмо из жестяной коробки и в десятый раз прочитать его вслух. И неподвижно глядя куда-то далеко-далеко — в дальние поля, куда ушла дочь, — будет слушать чтение Евдокия. Ласково задумается о сестре строгая Наталья, и затихнет мальчик Володя, с горящими глазами представляя себе танки, битвы и загадочную тетю Катю — что-то она делает сейчас?..

— Почтальон! — кричит Лена, глядя в окно.

— О господи, спаси! — говорит Евдокия. И все спешат в сени.

Девушка-почтальон, низенькая, толстенькая и рябая, роется в сумке и достает два письма.

— От Кати и Николая, — говорит Евдоким.

— От папы и тети Кати! — радостно-испуганно кричат Володя и Лена.

— Зайди, — говорит Евдокия почтальону. — Зайди, поешь горячего, ишь, отсырела вся.
— Некогда мне, — отвечает почтальон.

И идет дальше скорыми шагами в своих грубых мужских ботинках, зашнурованных веревочкой. Идет во всякую погоду по улице Кирова девушка-почтальон с полной сумкой фронтowych писем и стучится в окна, как судьба.

1944 — 1959

ПРИМЕЧАНИЯ «ЕВДОКИЯ»

Впервые — Ленинградский альманах. 1959, кн. 16; ранняя редакция под названием «Семья Пирожковых»: альм. «Прикамье». Молотов. 1945, кн. 8; Евдокия. — Сережа. — Валя. — Володя. — Времена года. Л.: Лениздат, 1960.

Повесть «Семья Пирожковых» написана Пановой в Перми, в 1944 г. Сюжет повести был подсказан газетной работой — на исходе войны многие семьи брали на воспитание осиротевших детей, причем нередко это были многодетные семьи. «Помню одного милиционера и его жену, — пишет Панова, — у них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире, а между тем как они добивались получить из детдома еще одного ребенка. Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство, а они продолжали, что называется, обивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку девочку, держа ее за руки, как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку (свои дети у нее были мальчики). Все увиденное показалось мне таким важным, что захотелось написать не очерк, а повесть, хотя бы совсем маленькую» («О моей жизни...» С. 199).

Задуманная повесть из жизни рабочей семьи — о судьбе Евдокии и ее приемных детей — создавалась в очень трудных условиях эвакуационного быта. После чтения рукописи в кругу нескольких литераторов Панова переделала малоудачную сентиментальную концовку повести, а весь текст постаралась сделать крепче, жизненной, доходчивей. Уже тогда ей очень помогли наблюдения над собственными детьми, некоторые сценки повести были целиком списаны с натуры.

В феврале 1953 г. Панова предложила Ленинградскому отделению издательства «Советский писатель» подготовить книгу из шести очерков, в которых были бы продолжены судьбы некоторых знакомых героев ее прежних книг. «В одном из них описывается дальнейшая судьба моего „старого“ героя — молодого рабочего Анатолия Рыжова из „Кружилихи“ („Толька“). Другой представляет собой переработанный и дописанный мой очерк „Семья Пирожковых“, напечатанный в 1945 г. в городе Молотове, в альманахе „Прикамье“. В остальных очерках новые герои... Мне трудно изложить более подробно содержание этой книги. В процессе работы сюжеты меняются много раз. Задача — чтобы каждый очерк был лаконичен, насыщен действием и событиями („судьбой“), чтобы он рассказывал о вещах, главных для нас всех, чтобы читать его было интересно, — и, по мере возможностей автора, чтобы он был художественным, то есть хорошо написанным» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 77).

Намеченная программа была осуществлена Пановой лишь частично. В 1958 г. она все-таки вернулась к ранней своей повести «Семья Пирожковых» и еще раз переписала ее по просьбе тогдашнего редактора «Ленинградского альманаха» Б. М. Лихарева, решившего напечатать это произведение в новой редакции. «Переписывая, — сообщает Панова, — я поняла, что она неправильно названа, что главное драматическое лицо в ней и несомненно главный характер — Евдокия, и назвала повесть ее именем. Под этим именем повесть с тех пор и переиздавалась, и на экраны вышла, и переведена на многие языки. Эту скромную повесть я считаю подлинным моим дебютом в литературе, с нее я уверовала в себя и стала

писать более свободно» («О моей жизни...» С. 200).

В 1961 г. по сценарию Пановой повесть «Евдокия» была экранизирована на Мосфильме молодым тогда режиссером Т. Лиозновой; роль Евдокии с большим успехом исполнила известная киноактриса Людмила Хитяева. Под впечатлением от повести Пановой и созданного на ее основе фильма писатель В. Семин верно заметил в свое время, что «Евдокия» заключает в себе особую авторскую идею человеческого счастья: «Неторопливое, как в жизни, течение событий, которые на первый взгляд движутся лишь за закрытой домашней дверью, постепенно увлекают вас развитием очень ясной и очень гуманной авторской мысли. И счастье, о котором говорится в фильме, перестает казаться вам таким уж простым, а домашняя дверь — закрытой» («Веч. Ростов». 1961, 10 мая). В работе над экранизацией «Евдокии» Панова открыла для себя некоторые стиливые особенности кинопрозы, развитые ею затем и в других сюжетах, например в киноповести «Рабочий поселок».

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)